

**Владимир
КУДРЯВЦЕВ**

ШУФ

*Попытка
литературного
расследования*

Книга III



РЕНОМЕ

**«Реноме»
Санкт-Петербург
2017 г.**

ББК 84. Р7
К 889

Редактор – *Максим Швец*
Оформление – *Марина Ясыченко*

Владимир Кудрявцев
Шуф. Книга III (Попытка литературного рас-
следования.) – СПб.: «Реноме», 2017. – 160 с., ил.

В третьей книге автор, продолжая идти по следам своего героя, самым невероятным образом снова убеждается, что в жизни ничего невероятного и случайного не бывает.

В книге приоткрывается тайна личной жизни поэта Серебряного века, приводятся строчки из любовной переписки, повествуется о литературных пристрастиях поэта-романтика и его окружении, приводятся подборки изумительно лирических стихов и фрагменты корреспонденций с Греко-турецкой и Русско-японской войн.

В оформлении книги использованы фотографии автора и фотографии из собрания «Фотогалерея» старой Ялты».

Книга будет интересна тем, кто любит русскую литературу и Крым.

Ограничение по возрасту 16 +

ББК 84. Р7
К 889

© Кудрявцев В.И., 2017.
© Семашкевич М.Б., оформление, 2017.
© «Реноме», 2017.

В третьей книге нашего уважаемого расследователя-самоучки, любителя острых ощущений, философствований на кладбищах и душераздирающих хитро spletений сюжетных интриг, окончательно становится явной его неразрывная связь со своим героем.

Расследование началось с необычной находки в ялтинском троллейбусе, которую наш сыщик-литературовед, вместо того, чтобы отнести в бюро находок, начал рассматривать и трепать дрожащими руками. После этих действий, продолжающихся определённое количество времени, Владимиру Кудрявцеву всё же удалось «перевести» в электронный вид содержимое найденного им дневника тогда ещё неизвестного ему писателя. Во второй книге имя писателя и автора дневника было явлено не только Владимиру Ильичу, но и всем его восторженным читателям и поклонникам.

Незнакомец оказался заметным литератором и журналистом-нововременцем Владимиром Шуфом.

Цель и задача книги третьей, по собственному признанию её автора, ближе познакомить читателей с творческим наследием несправедливо забытого русского поэта. А заодно довести до читателя полученные в ходе дознания факты из его биографии.

Книга открывается столь же провокационно, сколь и ожидаемо. Новое свидание с темой и с героем происходит у автора, как всегда, на месте первой встречи, – в Ялте.

Владимир Кудрявцев начинает не только с обстановки тотальной украинизации в Крыму, но и с воспоминаний своего далёкого и недавнего прошлого. После такой завязки наступает кульминация узнавания, открытия новых, почти интимных, подробностей из жизни своего персонажа, своего кумира, тёзки. Кто он, Владимир Шуф? Многожёнец, трудоголик-литератор, высокооплачиваемый сотрудник влиятельнейшей в России газеты, но едва сводящий концы с концами, дезертир со «строчечного фронта»? А может быть, просто-напросто замечательный поэт, тонкий лирик, пишущий в классическом духе пушкинского романтизма?

Для большинства сегодняшних читателей, интересующихся поэзией Серебряного века, имя Шуфа пока мало известно. А посему нужно поблагодарить автора за его нелёгкий, но благословенный труд.

Однако окончательного ответа на возникающие вопросы нет, эксперимент расследования не завершён. Интрига остаётся.

Максим Швец

***ВНУЧКАМ МАРИНЕ, НАТАШЕ, ДАРИНЕ
С ЛЮБОВЬЮ ПОСВЯЩАЮ
АВТОР***

Так называемые... «второ- и третьестепенные писатели» были велики своим честным и сердечным отношением к судьбам родины, к жизни народа, к литературе – святому делу их жизни.

М. Горький

Он теперь почти забыт, а для большинства и совсем неизвестен. Удивительна была его жизнь, удивительно и это забвение. Кто забыл его друзей и современников – Гаршина, Успенского, Короленко, Чехова? А ведь в общем он был не меньше их, за исключением, конечно, Чехова, а в некоторых отношениях даже больше.

И. Бунин

Призрак

Умру ли я в чужой стране,
И будет мне могилой
Холодный Север, горький мне,
Холодный и унылый.

Но душу вольную мою
Привязанность живая
Умчит на Юг, – в родном краю
Мечтать, не умирая.

Я след в Крыму оставил свой,
Там жил, любил я страстно,
А что полно любви живой –
Забвенью не подвластно!

И не дано исчезнуть мне...
Мой дух и за могилой
Скитаться будет при луне
В стране, при жизни милой.

Исполнен прежнею тоской,
С печалью затаённой
Носиться буду над волной,
Луной посеребрённой.

Сверкают волны и горят
Огнистой чешуёю,
И вдаль бежит их бурный ряд
Дорогою морскою.

С утёса вижу, став на кручь,
Слежу прибор шумящий...
И понесусь на крыльях туч
В тени долины спящей.

И там, как звёзды далеки,
Среди садов мерцая,
Горят селений огоньки, –
Там люди, жизнь людская.

Там мне мила ещё одна...
К её окну украдкой,
Когда немая ночь темна,
Лечу я тенью шаткой.

Её забыть – доньше нет
Во мне бесстрастной силы,
И запоздалый мой привет
Ей шлю из-за могилы.

Ещё к земле меня влекут
Мои воспоминанья,
Страшна разлука, – знал я тут
Надежды и страданья.

Как прежде, я люблю взглянуть
На ключ в овраге диком,
На виноградник, горный путь,
Где вьётся ястреб с криком.

Как прежде, в тишине громад
Ущелий потаённых
Мой слышен вздох, мой блещет взгляд
Среди ночей бессонных.

Чу! Камень, шумно под ногой
Упав, гремит о скалы...
То я... Ты встретился со мной,
Мой путник запоздалый!

Я проведу тебя туда
Дорогой безопасной,
Где над горой одна звезда
Блестит в лазури ясной.

И не оступится твой конь
О каменные скаты, –
Поводья брось! Узды не тронь!
С тобой пришлец крылатый.

Меня узнаешь всюду ты
Среди воспоминанья, –
Мои слова, мои мечты.
Тревоги и желанья.

В пустыне горной дуб стоит,
Обугленный грозою...
Там плачу я... И скал гранит
Прожжён моей слезою.

Тебе прибрежный кипарис
Мои расскажет думы,
И дикий плющ, и вольный бриз,
И гор хребет угрюмый.

Ты слышишь ли в ночной тиши
Крик птицы, грусти полный? –
То тихий стон моей души...
Мой смех – морские волны!

И про любовь мою тебе
Фиалка говорила...
Но повесть о моей судьбе
Пускай таит могила.

Могила, скрытая травой
Под старою раkitой,
Где над моею головой
Склонился крест забытый.

Мой незнакомец, вверься мне!
Над пропастью отвесной
Несись беспечно на коне
Тропинкой неизвестной.

Но помолись, окончив путь,
О том, кто на дороге
Хотел тайком тебе шепнуть
Былых страстей тревоги.

Вон там часовня под скалой,
Лампада золотая
Горит, окутанная мглой,
И льёт лучи, блистая.

Она с душой моей сходна:
Была в ней искра света,
Но гасла медленно она,
Печальной тьмой одета.

Мне краткий срок скитанья дан, —
Я слышу шум долины....
Прощай! Спеши!.. Ползёт туман,
Светлеют гор вершины!

Вл. Шуф

2008 год

Пустынная Яйла дымится облаками,
В туманный небосклон ушла морская даль.
Шумит внизу прибой, залив кипит волнами,
А здесь – глубокий сон и вечная печаль.

Пусть в городе живых у синего залива
Гремит и брешет жизнь... Задумчивой толпой
Здесь кипарисы ждут – и строго, молчаливо
Восходит Смерть сюда с добычей роковой.

Жизнь не смущает их, минутная, дневная...
Лишь только колокол вечерний с берегов
Перекликается, звеня и зазывая,
С могильной стражею белеющих крестов.

И. Бунин. 1896 г. «Кипарисы»

...**Ольга:** Батько помер ривно рик тому, саме в цей день, пятого травня, в твои именини, Ирина. Було дуже холодно, тоди йшов сніг. Мени здавалося, я не переживу, ти лежала непритомна, як мертва. Але ось минув рик, и ми згадуємо про це легко, ти вже в білому платти, твоє обличчя сяє...

Часы бьют двенадцать.

И тоди також били годинники.

Пауза.

Пам'ятаю, коли батька несли, то грала музика, на кладовищі стріляли. Він був генерал, командував бригадою, між тим народу йшло мало. Втім, тоді був дощ. Сильний дощ і сніг.

Ірина: Навищо згадувати!

Ольга: Сьогодні тепло, можна тримати вкна навстиж, а берези ще не розпускалися. Батько отримав бригаду і виїхав з нами з Москви одинадцять років тому, і, я чудово пам'ятаю, на початку травня, ось у цю пору, в Москві вже все в цвіту, тепло, все залито сонцем. Одинадцять років минуло, а я пам'ятаю там все, як ніби виїхали вчора. Боже мій! Сьогодні вранці прокинулася, побачила масу світла, побачила весну, і радість захвилювалася в моїй душі, захотілося на батьківщину пристрасно.

Чебутыкин: Чорта з два.

Тузенбах: Звичайно, дурниця.

*Маша, задумавшись над книжкою, тихо на-
свистує песню.*

Ольга: Не свисти, Маша. Як це ти можеш! Тому, що я кожен день в гімназії і потім даю уроки до вечора, у мене постійно болить голова і такі думки, точно я вже постарила. І справди, за ці чотири роки, поки служу в гімназії, я відчуваю, як з мене виходять щодня по краплях і сили і молодість. І тільки ростеєи мицніє одна мрія...

Ирина: Виїхати в Москву. Продати будинок, покинути все тут і до Москви...

Ольга: Так, швидше до Москви.

Ирина: Брат, ймовірно, буде професором, він все одно не стане жити тут. Тільки ось зупинка за бідною Машею.

Ольга: Маша буде приїжджати до Москви на все літо, кожен рік.

Маша тихо насвистує пісню.

Ирина: Бог дасть, все владнається. Гарна погода сьогодні. Я не знаю, чому в мене на душі так світло! Сьогодні вранці згадала, що я іменинниця, і раптом відчула радість, і згадала дитинство, коли ще була жива мама. І які дивні думки хвилювали мене, які думки!

Ольга: Сьогодні ти вся сяєш, здаєшся незвичайно красивою. І Маша теж красива. Андрій було б добре, тільки він дуже погладшав, це до нього не йде. А я постарила, змарнила сильно, тому, повинно бути, що серджуся в гімназії на дівчаток. Ось сьогодні я вільна, я вдома, і в мене не болить голова, я відчуваю себе молодше, ніж вчора. Меі двадцять висим роки, тільки... Все добре, все вид бога, але мени здається, якби я вийшла замиж і цілий день сиділа вдома, то це було б краще. Я б любила чоловіка.

Тузєнбах: Такий ви дурниці говорите, набридло вас слухати. Забув сказати. Сьогодні у вас з

визитом буде наш новий батарейний командир Вершинин.

Ольга: Ну, що ж! Дуже рада.

Ирина: Вин старий?

Тузенбах: Ни, ничего. Самое велике рокив сорок, сорок пять. Мабуть, славний малий. Не дурний це безсумнівно. Тільки говорити багато.

Ирина: Цикава людина?

Тузенбах: Так, нічого собі, тільки дружина, теща і дві дівчинки. Притому одружений вдруге. Вин робить визити і скризь каже, що в нього дружина і дві дівчинки. І тут скаже. Дружина якась недоумкувата, з довгою девическою косою, говорить одні пишномовні речі, філософствує і часто робить замах на самогубство, очевидно, щоб насолити чоловікови. Я б давно пішов від такої, але він терпить і тільки скаржитися.

Солёный: Однією рукою я піднімаю тільки пивтора пуда, а двома п'ять, навіть шість пудів. З цього я роблю висновок, що дві людини сильніше одного не вдвичи, а втричі, навіть більше...

Чебутыкин: (читає на ходу газету) При випаданні волосся... два золотника нафталину на пивпляшки спирту... розчинити і вживати щодня... Запишемо-с. Так от, я, говорив вам, пробочка встромляється в пляшечку, і кризь неї проходить скляна трубочка... Потім ви берете дрибку найпростиших, обыкновеннейших квасців...

Ирина: Иван Романыч, милий Иван Романыч!

Чебутыкин: Що, дивчинка моя, радисть моя?

Ирина: Скажите мени, чому я сьогодні така щаслива? Точно я на витрилах, треба мною широкє блакитне небо и носяться велики били птахи. Чому це? Чому?

Чебутыкин: (целует ей нежно обе руки) Птах моя била...

Ирина: Коли я сьогодні прокинулася, встала и вмилася, то мени раптом стало здаватися, що для мене все ясно на цьому свити, и я знаю, як треба жити. Милий Иван Романыч, я знаю все. Людина повинна трудитися, працювати в поти чола, хто б вин ни був, и в цьому одному полягає сенс и мета його життя, його щастя, його захоплення. Як добре бути робочим, який встає вдосита й б'є на вулици камени, або пастухом, або вчитель, який вчить дитей, або машинистом на залізници... Боже мий, не те, що людиною, краще бути волом, краще бути простою конем, тильки б працювати, ниж молодю жинкою, яка постає у дванадцять годин дня, потим п'є каву в ложку, потим дви години одягається... о, як це жахливо! У спекотну погоду так инод хочеться пити, як мени захотилося працювати. И якщо я не буду рано вставати и працювати, то видмовте мени в вашій дружби, Иван Романыч.

Чебутыкин: Видмовлю, видмовлю...

...А поначалу день складывался удачно. Вчерашний вечер и минувшую ночь я провёл на кладбище. Это были прекраснейшие, удивительнейшие, волшебнейшие часы моей жизни! Которые, – увы! – повторить невозможно.

Я, кладбище, произошедшее на кладбище, – что всё это было? что всё это означило? Это был он! И только он – детерминизм. Где в наличии и – необходимость, и – случайность.

Наука утверждает, что необходимость, – это события, которых не миновать, не избежать; то, что должно произойти – обязательно произойдёт, и в главном своём **произойдёт именно так, а не иначе.**

Необходимость, как таковая, – говорит наука – не существует в «чистом виде» – она проявляется через случайность. Случайность же вытекает из того, что **может быть**, а **может и не быть**, может произойти **так**, но может произойти и **по-другому.**

Одно и то же явление, случайное в одном отношении, выступает, как необходимое в другом. Отсюда вердикт учёных мужей: все открытия кажутся случайными – но они подготовлены необходимостью.

Я бы приписал сюда слова Павла Флоренского: «Ни одна вещь не приходит попусту, но в силу причинной связи и необходимости».

Однако это сегодня я такой умный, а вчерашним вечером и минувшей ночью... Нет, не хочу признать, что до вчерашнего вечера я не отличался умом, образованностью, степенью мышления, взглядом на окружающий меня мир, нет – Боже упаси! Но кладбище в то утро я покидал другим.

...В детстве я часто убегал – именно убегал – на кладбище. Мой отец служил лесничим, мы жили в лесу, на кордоне, от него до погоста почивших в Бозе было намного ближе, чем до живущих в мирской суете.

«Не бойтесь мёртвых, бойтесь живых», – при всяком удобном случае говаривал нам отец. И я не боялся. Повздорив с братьями или обидевшись на того или иного родителя, я убегал на кладбище, бродил среди могил, вглядывался в фотографии умерших, в даты рождения и смерти.

Наш поселковый погост богатством не блистал: между ровных рядов холмиков, ограждённых деревянным штакетником, раз-другой проглянет глыба гранитного надгробия и вновь – деревянный крест или пирамидка. На мемориально-архитектурную доминанту кладбища рассчитывала арматурно-цементная фигура воина с автоматом; на постаменте было высечено: «Вечная слава героям, павшим в боях за советскую Родину 1941–1944».

Раз в год, начиная с 9 мая 1960 года, когда государство разрешило отмечать День Победы, подле

воина проводился многолюдный митинг. Со сколоченной накануне дощатой трибуны руководство посёлка непременно грозило мировому империализму: «Если первая мировая война привела к возникновению первого в мире социалистического государства, вторая мировая война – к созданию социалистического лагеря, то третья мировая война, если её развяжут империалистические агрессоры, похоронит самих империалистов, на могиле которых благодарное человечество построит мировой социализм». Эти слова долго не давали мне покоя, и я обратился за разъяснением к отцу, от звонка до звонка прошедшему Советско-финскую и Великую Отечественную войны. Мой родитель был мудрым, – но внятного ответа я не услышал. Тогда я учился в седьмом классе, и с мучившим меня вопросом обратился к нашему историку: «Евгений Палыч, раз третья мировая война приведёт к созданию мировой социалистической системы, почему бы нам тогда самим не развязать мировую войну? Все народы доброй воли, наверное, только и ждут, чтобы мы...», – я не успел закончить. Евгений Павлович, который и так не терпел меня как левшу, и со всей большевистской непримиримостью бил линейкой по моей, как он выражался, «некрещёной», «тёщиной» конечности, когда я, забывшись, писал ему, прикончил мою мысль щелчком в лоб, оттянув свой гуттаперче-

вый палец (левую кисть руки бывшему фронтовику заменял протез). Мой отец был вызван в школу, затем – в районное учреждение, где с ним побеседовали и оштрафовали на два месячных оклада. Вернувшись из района, родитель, зажав мою голову между своих ног, долго охаживал солдатским ремнём мою задницу.

...Учёбу в школе я совмещал – факультативно – с визитами на кладбище. Оно росло, ширилось, богатело и оживало. Кресты и пирамидки всё более и более терялись между изваяний плачущих дев, печалующих ангелов и навевающих скорбь барельефов. И среди этой печали самыми интересными были для меня – эпитафии. Я даже завёл тетрадку, в которую вписывал самые выдающиеся.

В основе всякой эпитафии – будь она в стихах, будь в прозе – главная заповедь (с которой я категорически не согласен), – о покойном плохо не говорят. И потому в кладбищенских землях – сплошь достойные люди. Идёшь мимо могил, читаешь надписи и ужасает мысль: «Боже! Сколько же здесь хороших, милых и ...несчастливых! А где же подлецы, негодяи, мрази? Живут? Здравствуют? Не справедливо!».

Почему бы не высекать на камне: «Здесь лежит наркоман. Ему было 25 лет отроду. Неутешные родители». Или: «Здесь покоится наш папа-пьяница. Ему было 34 года. Осиротевшие дети». Или

такое: «Он был вором-рецидивистом и грабителем». Или вот ещё: «Мать-кукушка, бросавшая всех своих детей». Или так: «Вор, взяточник, растлитель». Или: «Он был депутатом и шёл по трупам». Словом, почему бы и не воздавать должное?

Мёртвые сраму не имут? Тогда отчего – «о покойном или хорошо, или ничего»? Зачем лукавим? Если бы каждого из нас ждала та надгробная речь, та надгробная надпись, что мы заслужили делами своими?..

Стал бы мир чище? Стал бы добрее?..

Я не был на могиле учителя истории и по совместительству секретаря первичной партийной организации Сясьстройской средней школы Евгения Павловича, но на его надгробном камне я бы с благодарностью начертал недрогнувшей правой рукой: «Да будет земля тебе пухом хороший человек».

*... «Я пришёл в мир добрый,
Родной и любил его безмерно.
Ухожу же из мира чужого,
Злобного, порочного.
Мне нечего сказать вам на прощанье», –*

такой эпитафией собственного сочинения, уходя в могилу, припечатал всех нас, ныне живущих, большой русский писатель Виктор Астафьев.

...«Если однажды ты почувствуешь себя самым счастливым человеком на свете – сходи на кладбище. А когда почувствуешь себя самым несчастным – сходи туда снова», – говорит французская пословица.

Вообще, путешествия по кладбищам и чтение эпитафий обогащают духовно, укрепляют морально, торопят жить. Правда, ненадолго.

Но чтение эпитафий побуждает и задуматься над тем, какие слова будут начертаны на твоей могильной плите.

И однажды я задумался. Ни одна из эпитафий, бывших в моей коллекции, по тем или иным причинам не удовлетворяла меня. А тем временем, дни мои неостановимо катились к закату. И тогда, памятуя о том, что спасение утопающего – дело рук самого утопающего, я наказал себе – сочинить эпитафию на собственный надгробный камень. Наказать-то наказал, но... Много позже я наткнулся на заявление французского писателя Жана Мармонтеля: «Пусть каждый заранее напишет себе самую лестную эпитафию и постарается её заслужить».

Написать себе эпитафию «самой лестной» мне не позволяет вовсе не скромность (хотя присутствует и это), а моя неуверенность в том, что я постараюсь «её заслужить».

И всё же, после нескольких лет творческих мучений, я нашёл-таки те слова, под которыми мне не стыдно будет лежать.

«Родился плача, ушёл смеясь!» – напишут на моём надгробии. Именно так, с восклицательным знаком. Именно так!

...А пока – начало сентября 2008 года. Я шёл по заласканной, зацелованной, залюбленной солнцем Ялте.

Бархатный сезон. Ласковое, как материнский взгляд, солнышко. Дурмящий, пьянящий, как поцелуй любимой женщины, запах моря, сосен и осенних роз. На пляжах нет пугающего хохляцкого хамства, раздражающего хохляцкого ора, демонстративной хохляцкой бесцеремонности.

Бархатный сезон. Багряная лоза винограда; желтеющие листья платана; светло-зелёные, с беловатым налётом – будто припудренные – шишки гималайского кедра; уличное кафе; бокал сухого красного; из динамика голос Рената Ибрагимова, поющего про путников в ночи (1):

*Я бродил в ночи
И ждал рассвета,
Я бродил в ночи
И ждал ответа,
Я бродил в ночи,
И я искал тебя...*

Бархатный сезон. По Набережной в полуодеждах, распяляющих мужское либидо и воображение, дефилируют зрелые, сочные, едва за сорок-сорок пять – безмужние матроны. К вечеру их число множится. Ассортимент – на самый взыскательный мужской вкус и количество тестостерона...

*Ночь была вокруг
Сплошной преградой.
Я искал и знал –
Ты где-то рядом,
Я искал и знал,
Что ты ждала меня...*

Бархатный сезон... Курортные романы... Но если чеховскому Гурову было достаточно косточки с обеденного стола, чтобы завязать связь с дамой с собачкой, то современные анны сергеевны, разгуливающие по Набережной в поисках-ожиданиях своих дмитриев дмитриевичей – несоизмеримо дороже...

*Путники в ночи
Два одиноких человека на пути,
На этом долгом и запутанном пути
Как тебя найти?
Нам так просто потеряться
И так трудно повстречаться... –*

Пел Ренат Ибрагимов, наводя щемящую тоску, погружая в тягучую грусть.

• "...Бархатный сезон. По Набережной
в полудеждах, распляющих турецкое
либидо и воображение, дефилируют
зрелище, сочные, едва за сорок-сорок
пятнадцать безмужские патроны..."



Набережная .
Сентябрь 2008г.
Ялта.

*Я нашёл тебя,
С тобою вместе
Мы прошли сквозь ночь,
Сквозь неизвестность.
Наступил рассвет
И к нам пришла любовь.*

Бархатный сезон...

Вечер и ночь я провёл на кладбище.

Григорий Пятков в статье «Возвращение Владимира Шуфа» пишет, что Шуф похоронен на Массандровском (Поликуровском) кладбище, могила его утеряна.

Но разве это препона тому, кто уже влюбился в своего героя, ставшего частью помыслов, поступков и решений влюблённого? Могила утеряна? Что ж, есть определённый участок земли, в котором покоится предмет твоей любви. И пройти по этому участку, и – это покажется диким, невероятным, – войти в мир Шуфа, прикоснуться к его духу, – что может быть желаннее?

Поликуровский холм. Отсюда много лет назад началась, пошла Ялта. И здесь находили вечный упокой её чахоточные граждане и неграждане.

«...Много чахоточных здесь, в каменистом грунте, нашли себе успокоение вдали от своих мест, вдали от родных и близких...»

Большой грех берут на душу те врачи, которые, несмотря на явные признаки скорой печальной развязки, высылают бедных больных мучиться в дороге и на месте в непривычной обстановке. На чужбине их чураются. Отказывают в помещении. Среди лишений и тоски погибает немало... Царство им небесное», – писал в 1901 году в очерке «На окраинах» Василий Кривенко (2).

Я не был чахоточным, врачи не высылали меня на лечение, Крым не был для меня чужбиной; меня здесь не чурались, в помещении не отказывали, я не был здесь одинок, пагуба от лишений и тоски мне здесь не грозила – и был я в приподнятом настроении.

...Пока я поднимался на Поликуровский холм, хрустальный день потускнел, пообмяк. Босоногий ветерок, скатывающийся с гор, набросил на круглолицее солнце узорчатую, бело-сероватую вуаль облачков и прошел шлейф изумрудно-зелёного платья моря серебристо-свинцовыми стежками.

Рюкзачок с джентльменским пляжным набором из пикейной подстилки, махрового полотенца, перочинного ножичка со штопором, складного пластмассового стаканчика, расчёски с зеркальцем, шариковой ручки, записной книжки, пакетика влажных освежающих салфеток, зажигалки, фо-

тоаппарата, газового баллончика, пластиковой литровой бутылки воды и трёхлитровой баклаги красного сухого приятно оттягивал плечи.

Поликуровский холм – своеобразный, самой природой сотворённый, триангуляционный знак. Да Поликур и был долгие годы таковым пунктом привязки, манком.

Поликуровский холм. Между могилами шныряет ветерок, шершавыми ладошами ерошит чуб вязелю, полошит агитки с биографиями и предвыборными общениями кандидатов в депутаты, шуршит листовками, призывающими перегораживать дороги, ложиться под бульдозеры, не допускать застройки кладбища.

Поликуровский холм. Возле надгробия поэта и врача Степана Руданского – осколки стёкол, россыпи битого кирпича, куски бетона; могилу художника Фёдора Васильева поганят пара изломанных пластиковых стаканов, пластиковая же трёхлитровая бутылка из-под пива «Оболонь», клочки пакетиков из-под сушёной рыбы и сухариков с ветчиной.

Поликуровский холм. На гранитной надгробнице – полураскрытая книга, стоящая вертикально, вверх корешком, на котором высечено: «Другу книги Григоруку», – оранжевеет гигиеническая прокладка, чернеет шёлковый лоскут женских трусиков, коробятся отколупки яичной скорлупы.

Я бродил по кладбищу, фотографировал надгробия, читал эпитафии, исчислял лета жизни усопших.

Дата рождения – чёрточка – дата смерти... Дата рождения – чёрточка – дата смерти... Чёрточка... Как мостик между жизнью и смертью, между бытием и небытием. На одном конце мостика – первый в жизни вдох, на другом – последний в жизни выдох. Вдох – переход по мостику – выдох. Вдох – переход по мостику – выдох...

...День уже начинал слабеть, когда я ступил на вторую половину кладбища. Мне открылось обширное, бугристое, заросшее можжевельником и шибляком, пространство порушенного, заброшенного погоста. Здесь под огромным, сотканым самой природой, вечнозелёным, с коричневатыми и седыми проплешинами покровом покоились кости многих и многих безвестных ялтинцев. И среди них – где-то – кости Владимира Шуфа.

Я достал из рюкзака пляжную подстилку, стакан, баклажку с вином...

Тишь, тишайшая тишь. Лишь прошмыгнёт тишком вполоснённый чем-то ветерок, взъерошит неухоженную, колючую шевелюру можжевельнику, и вновь – ни звука. Кипарисы, замершие, словно монахи в молитве.... Вековая сосна, на могучем, муаровом плече которой покачива-

ется золотистое ухо солнца... Кудреватые кудельки облачков на корме неба. Тёмно-зелёная прорубь моря, целующая горизонт...

Господи! Какое же это чудо – жить и видеть всё это! – шептал я, раздираемый чувствами. – За что мне такая награда – жить?! Чем я заслужил?! И чем мне оправдать её, Господи?

Но отчего жизнь так коротка, Господи? – стонал я, маленькими глотками потягивая вино. – Человек накапливает опыт, знания и – умирает. Какой в этом смысл? И кому это нужно? Если жизнь на Земле случайность, то – во имя чего? Если закономерность, тогда – чего? тогда – чья? тогда – зачем?

Я – случайность, – размышлял я, наполняя стакан вином. – Моё рождение, моё появление в бытие – это как предопределённое стечение миллионов и миллионов закономерных обстоятельств. Значит, у меня была возможность – **мне не быть**, значит, что-то разрушило эту возможность – мне не быть, и отправило меня в – **быть**. Быть – вместо кого? И что перевесило, что стало решающим в том, чтобы мне – быть, а тому, вместо кого я – не быть?..

Я разом осушил стакан.

... Меня могло не быть! Меня очень даже просто могло не быть! Но **я – есть!** Я – есть!! **Я – существую!** – Это – чудо, что я – существую! Это... – я наполнил стакана, в один присест выпил. – ... **Существовать – это величайшее чудо!**

• "...Пусть каждый заранее напишет
себе самую лестную эпитафию и
постарается её заслужить..."

• Жан Мармонтель



ДРУГУ КНИГ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Поликуровское кладбище.
Сентябрь 2008г.
Ялта.

Я лёг на спину.

Моему отцу, – глядя в остывающее небо, размышлял я, – было 48 лет, моей матери – 19, когда родился я. У отца это был пятый, неофициальный, брак, у матери – второй, незарегистрированный; и прежде, чем я должен был родиться, прежде, чем должен был быть, у моего будущего отца должна была погибнуть при пожаре его четвёртая, неофициальная, жена, а моя будущая мать, которой в ту пору исполнилось 17 лет, должна была сбежать от своего первого, законного мужа. Сбежать, встретиться с моим будущим отцом, зачать с ним меня. Зачать и м е н н о в т о время, именно в т у секунду, чтобы зачался и м е н н о я. Чтобы в секунды выплеска и м е н н о м о й сперматозоид, нет, именно тот сперматозоид, в котором «сидел» я, оказался везунчиком: преодолев все расставленные на его пути препятствия и ловушки, обогнав миллионы своих (и моих) собратьев-конкурентов, на прощание махнув им победно хвостиком, прошмыгнув в лоно изнывающей в ожидании зачатия яйцеклетки, слился с нею, замутив-заквасив зиготу, которая, в свою очередь... – в эмбриона, в плод, а плод, пройдя все стадии развития...

...Но прежде мой будущий отец, псковский крестьянин, должен был выжить при «раскулачивании», не сгинуть в годы репрессий, не погибнуть в Зимней войне с Финляндией и в годы

Великой Отечественной, оказаться у чёрта на куличках, в Южном Казахстане, в селе Ванновка, на должности директора тутового питомника.

Но прежде родители моей матери, оренбургские казаки, должны были, скрывая своё происхождение от коммунистов, переезжая с места на место, осесть у того же чёрта на куличках, в том же самом Казахстане, куда с Пятигорска, с годовалым сыном на руках, с моим будущим сводным братом, заявила, бежавшая от своего первого мужа, моя будущая мать.

Но прежде родители моей будущей матери, мои будущие дед и бабка, должны были произвести на свет 16 детей, десятерым из них должно было умереть во младенчестве, не прожив и семи лет, и среди коих две – одна за другой – Марии, которые своими смертями дали возможность родиться третьей Марии, ей и было суждено стать моей матерью.

Но прежде мой будущий дед должен был побывать на Первой мировой войне, получить контузию, попасть в плен, бежать из плена, прихватив с собой раненого однополчанина, в годы октябрьского переворота быть, – как казак и георгиевский кавалер, – приговорённым красными к расстрелу, поседеть в ожидании ружейного залпа, и в последнее мгновение быть помилованным красным командиром, бывшим однополчанином, которого когда-то вынес на себе из немецкого плена.

Но прежде на Псковщине, в семье зажиточного крестьянина, должен был родиться одиннадцатый ребёнок, мой будущий отец, родиться настолько хилым, что повитуха долго выхаживала его, обкладывая свежее испечённым хлебом и поятравными настояками.

Но прежде мой оренбургский будущий прадед, дед моей будущей матери, должен был привезти с русско-турецкой войны турчанку, жениться на ней, родить моего будущего деда...

Но прежде мой псковский будущий дед...

Но прежде... прежде... прежде...

Цепочка predetermined закономерных обстоятельств моего рождения, моего б ы т ь обрывалась, нет, исчезала из виду в начале девятнадцатого века.

Я сел. Наполнил стакан. Поднялся.

– Милые мои пращурь! Мои бесчисленные, безымянные, неведомые предки, низкий поклон вам за то, что вы – были, что были именно т а к и м и, что вы, т а к и е, своим бытием, именно т а к и м бытием, создали обстоятельства, predetermined определили именно т а к и е обстоятельства, при которых, в конечном итоге, не мог не появиться я, не мог не быть! Не мог не быть именно т а к и м, каков я есть! Каким вы подготовили меня! Спасибо вам! Спасибо, и низкий поклон и вам, две милые девочки Маруси, своими младенческими

смертями вы дали б ы т ь третьей девочке Марусе, которая, в свою очередь, дала б ы т ь мне. О, если бы не вы... – я опустошил стакан, ...о, если бы не все-все-все вы, мои неведомые, бесчисленные, из глубины веков, родственники-предки, о, если бы и м е н н о н е т о т, единственный, м о й, обусловивший, и м е н н о м е н я, сперматозоид (ибо секундой раньше, секундой позже – это был бы уже не я), меня бы не было, я бы не существовал. Значит, не существовало бы моих, и м е н н о т а к и х детей, моих, и м е н н о т а к и х внучек, моих, и м е н н о т а к и х будущих правнуков... Не существовало бы...

Я плеснул в стакан вина.

«Меня бы не существовало! Какой ужас!! Впрочем, ужас ли? Человеческое существование – это неразрываемый круг страданий. Если меня не было, если меня не существовало, то и ужаса нет, то и ужаса не существует, м о е г о ужаса... нет и страданий, м о и х страданий! Это же так просто! Не существуешь – и нет страданий, нет ужаса. Нет ужаса существования. Ужаса конца этого твоего существования!»

– Вот оно! – вскричал я.

Вот отчего рыдал чеховский герой – от ужаса существования!

– «О, если бы не существовать!» – рыдая, восклицал доктор Чебутыкин.

...Если бы не существовать... Это значит – ни страданий, ни любви, ни надежд, ни зла, ни добра, ни обмана, ни притворства, ни смерти, ни ужаса при мысли о неминуемом конце?: Н и ч е г о! Ноль! Пустота! Да, не существовать легко, господин доктор, вы попробуйте существовать.

Здесь, на Поликуровском кладбище, я вдруг понял, какая это нужная мысль: «Не существовать легко, ты попробуй существовать. Попробуй существовать, когда впереди – неотвратимый конец, когда – каждое мгновение – ты на мгновение ближе к этому неотвратимому концу. «Сколько таких мгновений отпущено каждому? По какому мерилу? Как э т о произойдёт? Когда? Что будет т а м?» – я не задавал себе таких вопросов, потому что на них нет ответа. Умрём – увидим. Но всё же – обидно! До жути, до душераздирающего крика, обидно, что меня, и м е н н о м е н я, и м е н н о т а к о г о, больше никогда, н и к о г д а! не будет!

Да, не существовать легко.

Я почувствовал, что мои руки гладят землю. Там, подо мною, лежали кости тех, кто уже б ы л, кому уже выпадал жребий с у щ е с т в о в а т ь: страдать, любить, ждать, надеяться, слышать это море, видеть это небо, греться под этим солнцем. Там, подо мною, лежали кости тех, кто ушёл в прах, чтобы дать с у щ е с т в о в а т ь и страдать

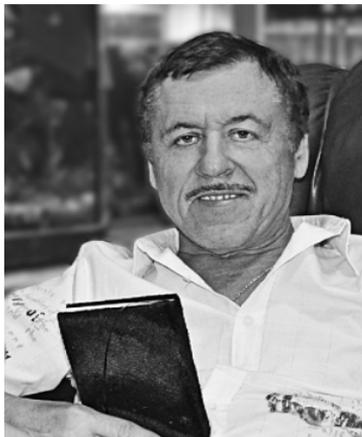
другим, чтобы эти другие, настрадавшись, послушав море, полюбовавшись небом, погревшись под солнцем, также ушли в прах, дав существовать, точнее, дав п о с у щ е с т в о в а т ь тем, следующим, а эти следующие – нам, вам, мне, а мы, а я, в свою очередь... И среди них – Шуф, мой Шуф.

Как это жутко, как мудро и как справедливо...

Я гладил кладбищенскую землю, я припадал к ней щекой, губами, словно,... словно это было колено любимой женщины...

...Ползущие с гор серые пряди сумрака отускилили синеватую стынь небосвода, на который уже выскользнул белёсый обмылок луны. Я засобирался домой, в Алупку – не ночевать же, в самом деле, среди могил. «Хотя, почему бы и нет? – мелькнула залихватская мысль, подзадоренная энным количеством выпитого вина. – На кладбище так широко, так смело, так легко, так вольно думается. И потом – бойся не мёртвых, бойся живых!»

Я, конечно, мог переночевать и у своего ялтинского друга Сергея Корниенко – балагура, шутника, затейника, певуна, гитариста, сценариста и постановщика массовых развлекательных программ для туристов и курортников, аквариумиста, фантастического хлебосола, в конце концов. Живёт он на улице Кирова, в старинном особняке, с мамой,



Сергей Корниенко

в пятикомнатной квартире, заставленной аквариумами. «Если опоздаю на последний автобус на Алупку – переночую у Сергея», – решил я.

...В метрах двухстах от выхода с кладбища, причём более половины этой стометровки приходилось на спуск по широкой гранитной

лестнице без поручней, меня окликнул мужской голос.

– Гражданин!

– Громадянин!

Второй оклик прозвучал жёстче, был приправлен нецензурщиной и, судя по тембру, принадлежал другому мужчине. Я слышал, что время от



Старинный особняк на улице Кирова

времени на Поликуре происходят кровавые схватки: бандиты охранных фирм избивают ялтинцев, противостоящих застройке холма и буквально кидających под строительную технику.

«Беги! – ожгла меня первая мысль. «С какой стати?» – возразила вторая. «Действительно, с какой? Убежать успеешь. И потом, у тебя же газовый баллончик», – подзуживала третья. «Ведь ты уже далеко не мальчик, – предостерегла четвёртая. – Выпил, так не ищи на задницу приключений!»

Я оглянулся. Трое. Ниже моего роста. В тёмных широких одеждах. На головах – бейсболки. «Да, не быть легко. А ты попробуй быть, – издевательски поддел я себя. – Попробуй быть. Как там? ...бытие определяет сознание, а между ними – кладбище? Но – это перебор: трое на одного. Или – один на троих? Судьба продолжает испытывать меня? Что же...». Я скинул с плеч рюкзак, визгнула молния – и баллончик перекочевал в карман шорт. «Одного я газом уконтропую. Главное – струю на себя не направить, как однажды с перепуга случилось», – подготавливал я себя. О дальнейшем – не думалось. По телу – мелкая дрожь опасности, неизвестности, возбуждения. Нет, вначале – возбуждения, потом опасности, неизвестности.

...Троица приближалась. Я, поджидая, сунул руку в карман шорт.

...Всё разрешилось самым невероятнейшим образом.

Такой подарок выпадает в жизни единожды. И не всякому. И раз в сто лет. И даже реже.

Китайская мудрость наставляет: «В сомнении воздержись». Французская – искушает: «Кто не рискует, тот не выигрывает». Я мог бежать, и – воздержался. Я рисковал, и – выиграл.

– ...Што же это получается, мужик? Разгуливаешь по кладбищу, как по своей собственной хате, а гроши за погляд кто платить будет? – На меня с круглого лица, щербатого, как солдатская миска, недобро пялились чёрные пуговики глаз.

– А с каких это пор прогулка по кладбищу платной стала? – с усилием улыбнулся я.

– А с тех самых, етишкина жись! – уточнил сотоварищ «п у г о в к о г л а з о г о» и грубо выругался.

Я натянуто улыбнулся.

...Когда-нибудь улыбке воздадут: посвятят научные труды и трактаты; напишут учебники, инструкции и памятки; разработают методику по освоению, использованию и применению улыбки в международных, межгосударственных, межправительственных и других связях, определят роль, значение и место в партнёрских, семейных и прочих отношениях, систематизируют, классифицируют, расставят по полочкам, составят опись...

Но... не стоит увлекаться улыбкой.

Улыбка... По улыбке можно судить о... да о чём угодно. Улыбка на лице – знак... да чего хотите. Улыбка бывает: широкая, дружелюбная, безмятежная, спокойная, довольная, приветливая, радостная, открытая, счастливая, многозначительная; вымученная, притворная, искусственная, ироническая, задумчивая, неуместная, насмешливая, сентиментальная, одобрительная, примирительная; презрительная, угодливая, заискивающая, загадочная, дурацкая, рабская, оскорбительная, учтивая, кислая, искренняя; подобострастная, хитрая, льстивая, ханжеская, лукавая, кривая, трусливая, страдальческая, соглашательская, злобная; болезненная, идиотская, брезгливая, сладкая, грустная, детская, слабая, опрокинутая, дежурная, предсмертная.

Улыбка... Как не хватает русскому человеку улыбки на лице! Мы разучились улыбаться.

– Да, с тех самых, – подтвердил п у г о в к о - г л а з ы й .

– И сколько же стоит прогулка по в а ш е м у кладбищу? – не снимая с лица улыбки, хорохорился я, вглядываясь в п у г о в к о г л а з о г о – его физиономия, точнее, отдельные черты её, мне казались когда-то уже виденными.

– Восемьдесят гривен!

– Да, восемьдесят гривен! – подтвердил один из сотоварищей п у г о в к о г л а з о г о и зако-

нил – как печатью – своё подтверждение банальным матюгом.

Мне не хотелось дарить каким-то пройдохам свои кровные пятьсот рублей, но и газовый баллончик применять не решался. Я пытался оттянуть развязку, заболтать ситуацию, как говорится, гнал д у р к у.

– А местным жителям скидка полагается? – одарил я п у г о в к о г л а з о г о натянутой улыбкой, снова и снова всматриваясь в его физиономию.

Вопрос для моих визави оказался явно вопросом из серии «на засыпку». Во всяком случае, наступательный порыв неприятеля был сорван. Инициатива перешла ко мне. Теперь необходимо было закрепить успех, деморализовать противника.

– Послушайте, – криво улыбаясь, обратился я к п у г о в к о г л а з о м у, – а если здесь мои предки лежат, мне что, теперь за деньги их навещать?

На какое-то время между нами повисла тишина. Я смотрел на п у г о в к о г л а з о г о, – откуда мне знакомо его лицо? П у г о в к о г л а з ы й и его приятелями уставились на меня... Ветерок, лениво перебиравший струны кипарисов, всплеснув руками, схоронился в тёмно-зелёной роздали кладбищенских кустов.

– Послушай, а ты случайно, не этот... как тебя... не Кудрявцев? – скорчил гримасу п у г о в к о г л а з ы й.

– Случайно, Кудрявцев, – удивившись, придурковато улыбнулся я.

– Что же это ты, товарищ старший прапорщик, своих отцов-командиров не узнаёшь?! – осклабился п у г о в к о г л а з ы й.

«Мать моя! Точно! – бухнуло-разорвалось у меня в голове. – Неужели это ты? Как же тебя, подлюка, жизнь пощипала! И поделом тебе, поделом!»

Да! Это был – он!

– Капитан Жоркин? – сардонически улыбнулся я.

– Наконец-то! Ити твою ити! Тольки не капитан, а майор, товарищ старший прапорщик, прошу меня любить и жаловать, – сморщилась в довольной улыбке физиономия Жоркина. – Да ладно фамильярничать, давай будем запанибрата, – предложил он, протягивая руку.

«Всё такой же», – злорадно улыбнулся я, нехотя отвечая на рукопожатие.

– Вот так встреча, ити твою ити! Вот так встреча! – завосклицал майор. – Ну, как ты? Откуда ты? Впрочем, чего я спрашиваю? Ты же и раньше каждый божий год всё в Крым, да в Крым. Вот и свиделись, ити твою ити!

«Столько лет минуло, а неприязнь к этому человеку осталась», – думал я, насилуя своё лицо улыбкой.

– Слушай, у нас тут есть одно местечко райское, это дело надо отметить, ити твою ити, – предложил майор. – Ведь ты не спешишь? Если спешишь, – то это будет большое свинство с твоей стороны.

Клянусь всеми винными погребками от Алушты до Алупки – о! как мне не хотелось выпивать с майором, о! как не хотелось!.. Майор был мне ни к чему, но в голове свербело: как он? что он? откуда и почему он здесь? и вообще...

Ничто так не связывает людей, как общее прошлое. Но и ничто их так не разъединяет, как общее прошлое. Нас с майором связывала общая служба. Общая служба нас и разъединяла.

...«Одним райским местечком» оказалось..., словом, мы расположились на той самой полянке, – если кладбищенскую пустошь с рельефно выступающими, точно наросты, могильными бугорками можно назвать полянкой, – мы расположились недалеко от того места, где я буквально минут десять назад предавался размышлениям.

– Лёха, Витёк, слётайте! – распорядился майор. Кто – Лёха, кто – Витёк, я так и не разобрался. Но это и неважно – в нашей с майором встрече они были статистами, и упоминаться в моём повествовании они будут от случая к случаю.

– Капитан, пока твои подчинённые лётают, давай за встречу. У меня тут литра полтора оста-

лось, – вжикнул я молнией рюкзака. – Только вот, не обессудь, стакан один.

– Да майор я, майор! Что ты, в самом деле, ити твою ити! – замахал руками Жоркин.

– Возможно. Но я тебя знаю капитаном. И ты для меня по гроб жизни – капитан, – с издёвкой улыбнулся я.

...Заместитель командира батальона по политической части капитан Жоркин был распоследней сволочью из всех замполитов, каких мне уговтавливала моя армейская служба длиною в 21 год, 2 месяца и 15 дней.

Не счесть подлых поступков капитана Жоркина. Всякий, кому выпадало служить с ним, может привести тому уйму примеров. Я же поведаю о двух.

Канун 9 мая. Капитан Жоркин отдаёт мне боевой приказ: при наступлении сумерек смотаться на командирском «козлике» на кладбище, разыскать тройку свежих могил и позаимствовать у них, – замполит так и выразился: «позаимствовать у них», – тройку-четвёрку приличных... – так и сказал: «приличных, чтобы перед людьми не стыдно было», – венков. «Позаимствованные» венки капитан планировал возложить на братском воинском захоронении.

Я противился, возмущался, – но... приказ есть приказ.

Отыскать свежие могилы труда не составило. В два захода, обливаясь леденящим потом, я выполнил боевое задание.

...Возложение «позаимствованных» венков к ногам бетонного солдата с девочкой на руках и автоматом на плече и проникновенная речь капитана Жоркина, заканчивавшаяся клятвенными словами, что никто не забыт и ничто не забыто, вышибало слезу. Женщины сморкались в платки; ветераны звенькали медалями; молодёжь расправляла плечи, суровела лицами.

Вечером 9 мая комбат и его замполит пили на берегу озера за здоровье отцов и дедов, за вечную память погибшим.

Пили они на 50 рублей, полученных замполитом в финчасти на покупку венков. За плитку шоколадки «Сказки Пушкина» продавец военторга выписала капитану фиктивный чек на 75 рублей, в итоге государство ещё и осталось должно своему защитнику 25 рубликов.

Если воровство венков сошло мне с рук, то кража картошки с совхозного поля аукнулась.

Всё было обставлено в лучших традициях: общевойсковое построение на митинг; короткое выступление комбата; занудливые наставления замполита Жоркина в стиле «наш сыновий долг», «наша святая обязанность», «наш ответ на неустанную заботу партии и правительства»,

«наш вклад в выполнении продовольственной программы», «народ и армия едины», «неусыпная бдительность», «стоять на страже», «держат порох сухим»...

Наконец – выехали. Поскольку я вне графика находился в суточном наряде дежурным по батальону – по приказу комбата заменил надравшегося в стельку сослуживца – мой взвод убыл под началом моего заместителя, помощника командира взвода, служаки сержанта Брачкавичуса.

На следующий день я получил тяжёлую контузию – в штабе батальона мне предъявили обвинение в краже одной тонны картофеля.

Более всех негодовал замполит: капитан Жоркин требовал «подвергнуть» меня суду офицерской чести, объявить неполное служебное несоответствие, понизить в воинском звании.

«У меня есть железное алиби, – защищался я, ошеломлённый, – я был в суточном наряде и не мог покидать пределов части».

«Подотритесь своим алиби, товарищ старший прапорщик! – багровел лицом замполит, – воровал Ваш подчинённый, воровал явно для Вас, а это равнозначно, что воровали Вы! Пока Вы служите в рядах советской армии, надо не книжки почитать, ити твою ити, а лямку армейскую тянуть, как мы все, а Вы вместо этого делаете умное

лицо, каждый год по крымАм разъезжаете, и это с тремя детьми, записи какие-то ведёте! Забыли, что у Вас, ити твою ити, на плечах погоны? А где, я Вас спрашиваю, воспитание у подчинённых патриотизма и воинской дисциплины?!»

«Но, товарищ подполковник! – обратился я к комбату, – я...»

«Товарищ старший прапорщик, кражу картошки удалось пресечь, иначе Вы бы сейчас не стояли здесь, а шли бы по этапу», – «успокоил» меня комбат.

Словом, «за грубейшие упущения в воспитании личного состава» мне вlepили строгий выговор с занесением в личное дело.

Через полгода, уходя на дембель, сержант Брачквичус за воротами войсковой части признался, что он воровал картошку по просьбе замполита:

– Капитан Жоркин подошёл ко мне и сказал, чтобы я «с патриотически настроенными солдатами выкопал пять-шесть ямок, наполнил их картошкой и, присыпав землёй, пометил веточками, а ночью он приедет и заберёт картошку.

– Товарищ капитан, а если меня кто из колхозников увидит, меня поймают и накажут?

– «Не дрейф, сержант, – ответил мне замполит, – ведь наказывать же буду я, а ты в отпуск пойдёшь, жену навестишь, проверишь, как она живёт, чем без тебя занимается».

...И вот – час пробил! Передо мною – лицом к лицу, глаза в глаза – он, мой давнишний уничтожитель, мой враг.

И что я? А я с неприязнью смотрел на него, с неприязнью слушал его, с неприязнью выпивал с ним. Смотрел, слушал и выпивал с той неприязнью, с какой обычно мы пьем водку – гадливо морщимся, но пьем. А выпив, спешим закусить, зажевать эту гадливось... чтобы вновь и вновь морщиться, но пить.

У всякого русского своя сугубая причина, чтобы выпить. И это аксиома. И это не обсуждается. Но никогда русский человек не будет пить, чтобы найти истину в вине! И это тоже аксиома. И это тоже не обсуждается! Да и нужна ли русскому человеку истина, если ему ещё не ведома правда? Не потому ли правда у русского человека подменяется справедливостью? А за справедливость русский человек всегда готов выпить. И во имя справедливости на любые жертвы пойти. И что из того, что эта справедливость будет сиюминутной, справедливой только для немногих, пусть даже для одного, пусть с точки зрения иных и не справедливость вовсе, а, скорее, наоборот,... что из того?

...Я, жертвуя с в о и м вином, пил с моим врагом, пил за справедливость. Вернее, пил в ожидании справедливости. Иногда я притворялся, что пил – уже трижды, едва пригубив, я незаметно для

собутыльника, орошал землю погоста вином. А замполит всё не пьянел. Между тем, меня уже трясло, между тем, я горел от нетерпения. Так трясёт за какие-то мгновения до полного обладания женщиной: вот она, вся под тобой, ты её мнёшь, давишь, осыпаешь поцелуями, она потерялась, забылась, почти утонула в тебе, ... но в какой-то миг она вдруг отчего-то приходит в себя, к ней возвращаются силы и осознание, и хотя взор её ещё замутнён, дыхание её ещё прерывисто, тело её ещё алчет, – она останавливает тебя, останавливает, не отвергая, не отказывая, останавливает с правом надежды на завершение в будущем – если не через час, если не завтра, то послезавтра наверняка.

... Меня трясло. Я наполнил стакан, протянул замполиту.

«Ну, падла! Сейчас я этот стакан тебе по сусалам размажу, пока твоих дружков нет!» – я представил, как бросаюсь на замполита, и со словами: «Получай, сука, за зло, которое ты сотворил мне!!» с наслаждением кулаками мочалю и мочалю его рожу.

– О, ити твою ити, явились – не запылились! – радостно приветствовал замполит показавшиеся головы Лёхи и Витька, – а мы тут со старшим прапором...

Я решил рискнуть. И было неважно при этом – выйду я победителем или понесу поражение. «Вот он, этот прекрасный миг, когда...»

– Слушай, капитан, если меня, умирающего, спросят – был ли я счастлив, я отвечу – был. Потому что в моей жизни были семья, Крым и ты, замполит...

– Спасибо тебе, Ильич, тронут, не ожидал.

– Ты, замполит, пример того, каким подлым бывает человек.

Где-то внизу, сбегая к морю, звенел, как серебряное блюдо, ручеёк.

Всем телом, как женщина, изнывающая похотью, дрожал ветерок.

Я изготовился, встал в стойку.

– Ну, это ты зря, прапор, эти слова меня проняли вот так, как крюком под дых, прямо в пах!

...День окончательно сник – день больше был не нужен. Осмелевшие сумерки набросили на плечи кипарисов пятнистый плед и расплескали по горизонту красное вино заката. Далеко внизу море вело свой извечный спор с берегом.

Слева, под можжевельным кустом, похрапывали Витёк и Лёха. Справа, запрокинув лицо к густеющему небу, тяжко сопел капитан Жоркин.

Я глядел на спящего замполита и был счастлив. Если русский человек вообще может быть счастлив.

...Воинское звание «майор» капитан Жоркин получил, как только был назначен на должность заместителя командира полка гражданской оборо-

ны по политической части. Полк дислоцировался в Тихвине и по дисциплине, подчинённости и задачам был скорее полувоенной организацией.

Служба оказалась пустяковой и майор Жоркин сколачивает подпольную артель по отлову собак, шкурки сбывались местному скорняку, тушки – работнику заготконторы.

Трудно сказать, сколько длилась бы подобная благодать, кабы не происки Перестройки. В 1990-ом году в стране создаётся новая структура – Министерство по чрезвычайным ситуациям, а подразделения Гражданской обороны упраздняются. Но настоящей трагедией для замполита стало изъятие из Конституции в том же 1990 году 6-й главы, законодательно закреплявшей руководящую и направляющую роль коммунистической партии. «Язык мой – кормилец мой», – как любил говаривать замполит, отныне перестал быть его кормильцем. Его любимый лозунг: «Я буду таким, каким мне будет удобно!», и вытекающий из этого тезис: «Жизнь определяет сознание», – больше не действовали.

Вынужденное увольнение в запас; наезд «братков» на артель; пролом черепа; сотрясение мозга; развод с женой; потеря жилья; отъезд в Черниговскую область к родственникам; получение паспорта гражданина Украины; попытка зажить новой жизнью; бродяжничество; – таковы этапы

большого постперестроечного пути моего бывшего командира.

Каждую осень майор Жоркин покидал родную Черниговщину и до марта пережидал зиму в Ялте, на Поликуровском холме, где зимой солнце заходит часом позже, в Мордвиновском и Массандровском парках, богатых на ручьи и укромные уголки.

Я смотрел на исхлѣстанное жизнью лицо моего бывшего командира и был почти счастлив: я – отмщѣн. Я был горд собой, я наслаждался ощущением превосходства над поверженным противником, – хотя поверг его вовсе не я, – поверг он себя сам. И всё же...

И всё же я поймал себя на том, что проворачивал и проворачивал в своей слегка замутнённой вином голове замполитову исповедь – в надежде отыскать в ней хотя бы мизерную толику того, что позволило бы если не оправдать, то приуменьшить его паскудство. Искал, не находил, понимал, что только он, и только он сам повинен в своей судьбе, понимал, и... начинал жалеть его.

Когда-то и где-то я услышал фразу, что можно вытащить человека из грязи, но нельзя вытащить грязь из человека. Таким человеком был мой бывший сослуживец, но разве от этого он не имел права на жалость?

Я достал из рюкзака пляжную подстилку, растелил её между двух продолговатых бугорков,

густо заросших пахучими можжевельновыми побегами, из рюкзака соорудил подушку, из полотенца – одеяло, лёг на спину и ...ушёл в небо.

Одна из красивейших в мире картин – наблюдать, как женщина надевает чулки. Нанизав на пальчики ноги шёлковый жгутик, раскручивает его на ступню, на пятку, на лодыжку, дойдя до колена, оглаживает ногу ладонями, пальцами, вытягивает ногу перед собой, любитесь, трепетно следует пальцами всё выше и выше...

Но не менее захватывающая картина – наблюдать ночное небо над Ялтой.

Те, кто хоть однажды наблюдал его – согласятся со мной.

...Спал ли я в ту ночь? Не знаю! Но когда за зубчатыми карнизами деревьев, вызолоченных крапом, привстав на цыпочки, кралось солнце, я был уже у моря, на ещё совершенно безлюдном Массандровском пляже, где, оставшись в костюме Адама, долго и с наслаждением купался, с гнусью думая о замполите и его душе.

«По определению американского медика и биолога Дункана Макдугалла, пытавшегося взвесить массу, которую теряет человек, когда душа оставляет его при смерти, вес души человеческой около 20 грамм. Но я полагаю, что души разных людей имеют разный вес. Во всяком случае, у души замполита – нет веса», – злорадствовал я.

Несколько раз в мои думы вклинивалась некая худосочная дама, что неподалёку, за сетчатым металлическим забором, ограждающим пляж пансионата «Актёр», в одиночестве демонстрировала что-то похожее на зарядку. Она становилась в позиции, опускалась на четвереньки, приседала, размахивала руками, закидывала ноги, выпячивала зад, садилась на шпагат, прогибалась мостиком. Выглядело всё это вульгарно и пошло. Откупавшись, я оделся, помахал даме рукой и бодро зашагал к Ялтинскому автовокзалу.

В Алушке я перво-наперво попытался на бумагу перенести свои ощущения, свои чувства, свои переживания – было необходимо выговориться. Но – увы...

А день продолжался, и надо было жить дальше.

Чуть отдохнув и прихватив с собой три экземпляра томика избранной прозы собственного сочинения (3), я вновь поехал в Ялту, где в рамках очередного чеховского фестиваля на чеховской Белой даче студентами Днепропетровского театрально-художественного колледжа давались «Три сестры».

С этого всё и началось... А ведь поначалу день складывался удачно!

Я в саду, среди зрителей. На веранде чеховского дома разыгрывается величайшая драма, а я едва сдерживаюсь, чтобы не уйти. Во мне всё кипит. Я

бы ушёл, я не однажды порывался уйти, но всякий раз меня останавливали сёстры. Вернее, одна из сестёр – Ирина. Она была так красива, так притягательна, так обворожительна! Я не сводил с неё глаз, я любовался её красотой, я восхищался ею! Но, ах, если бы она молчала! Если бы она молчала! И если бы молчали её старшие сёстры Ольга и Маша. Но они говорили и говорили. И говорили остальные персонажи пьесы. И слушать их было невозможно.

Что испытывали зрители, пришедшие, как и я, на встречу с Чеховым? Считали ли они себя обманутыми, униженными, оскорблёнными?

Я шёл к м о е м у Чехову, с которым был знаком со школьной скамьи, но которого у з н а л и полюбил много позже. Я шёл к русскому Чехову, а меня встретил Чехов на украинской мове. По какому праву? Украинский язык мелодичный, певучий, но слушать на нём Чехова, мне, выросшему на русском языке, впитавшему русский язык с молоком матери – невыносимо! Я слушал актёров и ловил себя на мысли, что Чехов так не говорил, Чехов так не мог поверкать русский язык.

– «Почему организаторы фестиваля не поместили на афише, что пьеса идёт на украинском языке? – мысленно возмущался я, поедая глазами Ирину. – Ты такая красавица, и так уродуешь Чехова, м о е г о Чехова!»

Как не притягательна была красота актрисы, едва дождавшись окончания первого действия, я, прячась за деревьями, покинул «зал».

Мне окончательно стало не по себе, когда на административном здании – филиале Дома-музея Чехова – я увидел развивающийся желто-голубой флаг Украины. «Чехова приватизировали, сволочи!» – выругался я и вошёл в здание.

В небольшом фойе торговали ширпотребом, «повязанным» с Чеховым: открытками, брошюрами, пеналами, до непотребства мутными фотографиями, книжонками, блокнотиками, тетрадками, альбомами, брелоками, значками, рекламными проспектами. Я распахнулся:

– «А презервативов у вас с чеховской символикой, случайно нет!? «Дядя Ваня», допустим, или «Три сестры». Ну, «Чайка», на худой конец, «Вишнёвый сад?!» – едва не сорвалось у меня с языка.

Сквозь двери конференц-зала просачивалась музыка, доносился смех... После того, как я подарил смотрительнице, или как её там, свою книжку избранной прозы, тем самым указав, что я не какой-то там с улицы, а что к Чехову тоже имею касательство, меня допустили в конференц-зал. Со сцены на родном мне русском языке звучали отрывки из писем и рассказов Чехова, исполнялись романсы, плакала скрипка, заливалась флейта, рокотал рояль...



Марина Кайдалова

По окончании всего действия на сцену поднялся Марк Розовский. «Наш пострел везде поспел!», – ахнул я. После пространной, но ёмкой речи Марка Григорьевича распахнулись двери банкетного зала. С Розовским я был знаком шапочно, что не помешало перекинуться с ним несколькими

фразами, обменяться рукопожатиями и передать привет от Заслуженной артистки РФ Марины Кайдаловой, оставшейся в Москве замещать метра. Я старался держаться обок со знаменитостью, понимая, что только рядом с ним я в безопасности, но меня оттеснили.

Почитатели Чехова обступили столики. ...Шампанское, икра, сыры, крымское вино, фрукты, и над всем этим, – в центре, – создатель, худрук и главреж московского театра-студии «У Никитских ворот». И он, – Марк Розовский, – мастер спичей – произносил спич.

– «Какую же ораву людей вы кормите, дорогой Антон Павлович!» – подумал я, взирая на припиленную к стене фотографию Чехова, где он был изображён опирающимся о шкаф.

– Извините, а вы кого здесь представляете?
– ожгла меня взглядом соседка по столику, – дама в глубоко декольтированном голубом платье в пол.

– Я? Я здесь... я представляю... я здесь от лица общественности, – поперхнувшись червонным крымским, нашёлся я.

Дама с подозрением и одновременно с интересом оглядела меня.

– «Пора делать ноги, Ильич», – стушевавшись, приказал я себе.

– Вы позволите освежить? – плеснул я в бокал бдительной соседке шампанского, и, опережая её следующий вопрос, звякнул своим бокалом о её бокал. – За Антона Палыча Чехова, собравшего нас здесь!

... Вот такие невероятные часы с 7 на 8 сентября 2008 года пережил я в поисках следов Владимира Шуфа.

Часы, которые, как оказалось, определили и убыстрили дальнейший ход моего литературного расследования.

Часы, после которых из сумрака минувших лет начала высвечиваться информация о м о ё м Шуфе.

В этом любезнейший читатель мой убедится тотчас.

1865 – 1900 гг.

Прадед Владимира Шуфа, баварский немец, был приглашён императрицей Анной Иоанновной (4) в Петербург на должность библиотекаря (5).

Библиотекарем баварец оказался столь отменным, что за усердие и прилежание императрица жаловала его в дворяне.

Отец Владимира Шуфа, Александр Карлович, был известным московским историком и юристом (6).

3 февраля 1865 г. (22 января по ст.ст.) в православной семье Шуфов родился сын Владимир. В ранней юности у него обнаруживаются первые признаки туберкулёза и осенью 1882 года родные отправляют Владимира на юг, в Ялту.

Живёт недоучившийся слушатель 3-й московской гимназии на даче Александры Владиславовны Олехнович, вдовы врача Франца Андреевича Олехновича.

В 1883 году 18-летний Владимир Шуф женится на троюродной племяннице композитора Михаила Глинки Юлии Ильиничне. На окраине Ялты, на Чайной горке, что на границе с Лива-

дийским императорским именем, они покупают небольшой домик. Здесь у них рождаются дети: в 1885-ом году – сын Александр, в 1889-ом – дочь Наталья.

Владимир Шуф служит в Таврической Казённой (Государственной) палате помощником Столоначальника по взиманию налогов, живёт в Симферополе, пишет письма другу семьи философу Владимиру Соловьёву, тяготится бесплодной чиновничьей канцелярщиной и находит вдохновение в литературе: его стихи и очерки (как тогда говорили, фельетоны) публикуются в «Неделе», «Ниве», «Живописном обозрении», «Осколках», «Вестнике Европы», в «Ялтинском листке», который издаёт меценатка, педагог, музыкантша Фанни Карловна Татаринова.

Свою службу в Казённой палате поэт охарактеризует так:

*В провинцию заброшенный злым роком
(Советник тайный этим роком был),
Я года два с усердием служил
В одном губернском городе далёком.
Взирало на меня, ценя мой пыл,
Моё начальство благосклонным оком,
И я чернила проливал потоком.*

II

*С наследственных имуществ награда
Высчитывал я пошлыны и пени,
Презрев наследников мольбы и пени*.
Был невелик мой месячный оклад.
Пройти служебной лестницы ступени
Не довелось мне, в чаянье наград,
И из меня не вышел бюрократ.
Не награждённый чином, геморроем,
Без пенсии, – с чернильницей одной,
И не украсив список послужной,
Сей длинный лист с печатями, на коем
Изображён весь жребий наш земной,
В отставке наслаждаюсь я покоем,
Хоть наслаждаться часто не легко им.*

IV

*Чтоб обеспечить жизнь детей, жены.
В Воронеже, в Калуге или в Туле,
Все в той же позе и на том же стуле,
Лет тридцать пять мы просидеть должны.
Мы в юности про жизнь мечтаем ту ли?
Но рок суров, и молодые сны*

* – пеня – упрёк, укор, высказывание неудовольствия.
(Прим. Кудрявцева)

*Мечтой о пенсии побеждены.
Но я, увы! – во вред душе и телу,
(Простятся ль мне столь тяжкие грехи?)
На службе даже сочинял стихи.
Я воспевал любовь и Филлелу,
А в докладной писал тьму чепухи.
Я летал к далёкому пределу,
Хотя предел не относился к делу.*
(«Гортензия». Поэма в сантиметрах)

В Ялте судьба одаривает поэта бесценным подарком – сводит с Османом Мамутом, который станет преданным его слугой и другом во всех странствиях по миру. Осман научит Владимира крымско-татарскому языку, джигитовке, познакомит с крымско-татарскими легендами и песнями.

В 1890-ом году в Москве выходит первая книга Шуфа – «Крымские стихотворения», в 1892-ом в «Вестнике Европы» публикуется поэма «Баклан». В том же 1892 году, порвав с ненавистной чиновничьей службой, оставив в Ялте жену с детьми (7-летним сыном Александром и 4-летней дочкой Наталией) 27-летний Владимир Шуф с верным ему Османом переезжает в Петербург.

Первое время Владимир Шуф редактор газеты «Петербургский листок», затем – корреспон-

дент и подрабатывает на страницах еженедельных литературно-юмористических журналов «Осколки» и «Шут».

В июне 1896 года в Петербурге выходит книга прозы В. Шуфа «Могила Азиза. Крымские легенды».

«<...>

.. Кто из вас, господа, не знает Крыма? Чудная природа, скучающие дамы, молодые татары, ищущие их покровительства, дорого-визна гостиниц, виноград, пыль, и т.д. и т.д. Это известно всем и каждому, это написано в путеводителях, об этом сообщают в газетах, это изображают на сотнях полотен художники. Но не всем Крым открыл свою душу, и моему молодому товарищу по перу выпала завидная доля рассказать нам впервые души и чувства дикого, некультурного, не заражённого Москвой, Петербургом или Одессой татарского Крыма, который неохотно показывается туристу, который не любит шума Турзуфа или Jalta les bains, как говорят модные дамы.

Древние могилы рассказали автору этого сборника о жизни подвижников, князей и царевен, которые покоятся под истрескавшимися коло-

нами, прикрытыми мраморными чалмами; седые цётёсы открыли ему свои пещеры, в которых разноплеменные удалыцы прятали награбленные сокровища; старая, полуразвалившаяся мечеть поведала удумливые тайны своего подземелья; стены высеченной в скале крепости напомнили о битвах, страстях и стремлениях давно ушедших с земли героев, самая память о которых едва сохранилась в былинах татарского сказителя.

Он наблюдал не одни светлые стороны крымской природы. Он пытался разгадать тяжёлые думы выжженной степи, угрюмый покой нагорных пастбищ, вытягивающих взгляды горных расщелин. Знаюк крымской жизни, он старался передать в своих рассказах нравы, обычаи, верования той вымирающей смеси племён, к прежним повелителям которой русские цари посылали дары и поминки. И в этом любовном, сердечном отношении к инородцу, в этом желании разгадать и опозитивировать его душу заключается главная заслуга молодого автора.

<....>

Я не знаю, так ли очаровательны на самом деле молодые татарки, как их изображает мой товарищ. Я не пойду жаркою ночью поджидать у плетня их возвращения с вечеринки, мне не придётся наблюдать, как они полощут бельё в горном ручье. Но молодой беллетрист сумел заинтересовать меня или, как, наверное, заинтересует и вас. А этого только и нужно. Талант всегда идеализирует жизнь, одлекая её лучшими красками своей души.

В рассказах молодого автора эти милые татарки не имеют ничего общего с нашими изломанными, изнервничавшимися барынями. Они так же мало усложнены культурой, как газели или ласточки, но эта простота не мешает им обманывать своих мужей, хотя они и лишены возможности написать самый нехитрый billet doux. Бедные, их не учат писать! <...> И они рискуют гораздо больше, чем наши милые дамы. С ними не церемонятся. Им перерезывают горло, их засекают вожжами за малейшую неосторожность в запретной любви.

Я мог бы ещё долго говорить по поводу крымских рассказов моего приятеля, но мои рас-

суждения о них, пожалуй, расхолодят ваше внимание. Читатель не ребёнок, он может и сам найти в книге присущие ей достоинства. Мне хотелось только отметить то новое, что представляет этот сборник в нашей литературе, при всех недостатках молодого, ещё не вполне выработавшегося таланта.

<...>»

Так писал в предисловии к «Могиле Азиза» Сигма (7).

...1 марта 1897 года из Севастополя вышел пароход «Олег». Среди прочих к берегам Босфора плыл и некий словоохотливый господин лет 35-ти, свободно разговаривающий на нескольких европейских языках. При господине состоял горбоносый сотоварищ в татарском национальном костюме, с серьгой в ухе. Утром следующего дня приятели, откупившись от капиджи (8) всесильным в Турции бакшишом (9), сошли на берег в порту Стамбула.

Первый был аккредитован как военный корреспондент от «Петербургского листка»; второй – всецело принадлежал и служил первому.

Одного звали Владимир Шуф, другого – Осман Мамут (по иным источникам Осман Мамед).

С театра военных действий греко-турецкой войны в Россию за подписью «Борей» полетели

смелые, объективные, наполненные патриотизмом статьи и репортажи.

12 апреля 1897 года в греческом городе Лариса Шуфа и Османа арестовывают, обвиняют в шпионаже в пользу Турции и передают военнополовому суду.

...Расстрела удалось избежать чудом.

А через несколько месяцев в Петербурге под фамилией Борей выходят «Записки военного корреспондента о греко-турецкой войне». Их автор – Владимир Шуф.

Поражает провидческий талант Шуфа. Например, в 25-ой, заключительной записке.

XXV

ВОЙНА И МИР

9 сентября.

Мир подписан и греко-турецкую войну можно считать законченной, если только неустойчивый Восток нам не готовит какого-нибудь сюрприза, – хотя бы на острове Крите. Магаметанская луна изменчива и часто меняет свои фазы. Если бы Третья не была выжата, как губка, в финансовом и политическом смысле, и греческий патриотизм не разрядился при неудачном выстреле в чалму, мы не могли бы ручаться за мир.

Темперамент и рассудок — вещи различные, а на Востоке всё — дело темперамента. В этом мы имели случай убедиться.

Третья начала войну наперекор воле всей Европы. Даже теперь, сверх всякого ожидания, пока в Элладе действует субсидируемое Англией общество «Heteria Etnike», можно опасаться вспышки темперамента на острове Крите. Амбициозное слово, перебранка — и блеснут ножи. Для Англии всегда может оказаться выгодной вспышка страстей на Востоке.

Побеждённая Третья, потери которой, благодаря нашей дипломатии, сведены до минимума, может теперь убедиться в великодушии России.

Клевета, ненависть, злословие, сыпавшиеся в Афинах на голову России и русского народа, не помешали нам выгородить в беде наших единоверцев. Третьи возвращается её богатая житница или, вернее, сад — Фессалия; Третья, несмотря на всю невыгоду своего положения, платит Турции минимальную контрибуцию в 4.000,000 турецких фунтов — сумма, едва ли покрывающая затраты От-

таманской Порты на войну. Права и привилегии живущих в Турции греков восстанавливаются. Кто знает, какой неблагоприятный элемент составляют турецкие греки и как они опасны для турецкого правительства, тот вполне может оценить эту статью договора, включению которой упорно сопротивлялась Порта. Берлинский трактат, парализовавший плоды наших побед после восточной войны, был несравненно более выгоден для России, чем мирный договор, подписанный в Топхане, — для Турции. Победительница на поле сражения была побеждена дипломатией, и Турции остаётся только слава победы, не заключающая в себе ничего вещественного.

Третья, наоборот, ощутила в самых выгодных условиях. Она проиграла битву, не потеряв клочка земли. Ничтожные изменения границы в стратегических целях очень несущественны. Третья, в качестве финансового банкрота, платит контрибуцию по пятаку за рубль. Это всё равно, что игрок, проигравшийся на зелёном поле в экарте, заплатил бы вместо своего проигрыша лишь десятую долю. «Он плохо играет — с него

надо недопалучить». Всеми этими незаслуженными выгодами Трентя обязана России. Политика России, стремящаяся к миру и благу народов, выше личных счетов. Как бы к нам ни относилась Трентя, обвиняя нас во всех бедствиях своей войны, мы не изменили своей политики, в конце концов благоприятной Трентии. Собственно говоря, греки не могли заслужить никаких симпатий. Войну они начали, несмотря на все предупреждения Европы, они могли осложнить восточный вопрос и вызвать общую смуту единственно ради своего национального эгоизма. Героизма в войне они никакого не проявили. Это была позорная для Трентии война. История не запомнит таких быстрых поражений. Когда в севастопальскую кампанию Россия была побеждена соединёнными силами нескольких государств, героический Севастополь держался одиннадцать месяцев, не имея ни хорошего оружия, ни боевых припасов. Побеждённая Россией Турция может указать на славную оборону Плевны. Между тем Трентя, несмотря на весь свой раздутый энтузиазм, не способна была удержаться ни в одной позиции, даже в прекрасно

укрепленной Фарсале. Но бесславная война закончилась славным миром. В нашей печати смеялись, что Греция, в качестве маленькой, позволяет себе не слушаться старших: маленькой – всё можно, а теперь маленькую все жалеют.

Турция всё-таки большая, а большие должны уступать детям. Вот логика событий. «Hellas–hilas! – увы – Эллада!» – можно было сказать, видя поражение Греции, но условия мира столь выгодны, что мы можем ожидать возрождения Греции. Из боевого огня она восстанет, подобно фениксу, и, пожалуй, ещё наделает хлопот Европе. Даже автономно Крита Греция могла бы считать национальным удовлетворением, если бы тут дело касалось действительно сострадания и любви к греческим критянам. Война Греции способствовала освобождению критян от турецкого господства. Но, так как подкладка греческих симпатий к критянам была совсем иная, и в территориальном присоединении Крита был заинтересован банк Скуюжеса, брата бывшего министра иностранных дел, то автономией Крита в Греции не будут довольны.

Когда, в 1821 году, греки дрались, одушевлённые идеей свободы, увлекшей даже лорда Байрона, они победили турков, но теперь этой идеи не было, и греки проиграли войну. Вот внутренний смысл совершившихся событий.

Нам, русским, не следует обольщаться надеждой, что вмешательство России в переговоры о мире, принесёт столько выгод грекам, будет оценено в Афинах. Ни благодарности, ни симпатии со стороны греков нам ждать нечего. Теперь, когда подписан выгодный для Трентии мир, я убеждён, что в Афинах нас ругают ничуть не меньше, рисуют всё те же карикатуры на северного медведя, дрессируемого Англией, и прораживаются насчёт русской культуры. Даже собираемые у нас пожертвования в пользу греческих раненых не изменяют общественного настроения в Афинах. Ненависть к русским настолько сильна до сих пор, что, как мне пишут из Афин, русские матросы с наших военных судов принуждены разгуливать в Турее под ружьём, и лодки, высаживающие матросов на берег, снабжены пушкой. Было несколько весьма прискорбных случаев нападения на русских мо-

ряков. Разумеется, России нет никакого дела до симпатий и антипатий маленькой Греции, и мы руководствуемся исключительно собственной политикой.

К неблагодарности наших единоверцев, болгар или греков, нам не привыкать стать. <...> Королевский дом Греции симпатизирует России, и против нас одни национальные страсти народа, весьма, впрочем, сильны. Но я надеюсь, что мудрая Афина не навсегда покинула Грецию, которой так коварно изменил Марс. Исключительно заступничество России, стоявшей во главе европейского соглашения, обязана Греция тем, что она вся не обратилась в развалины, подобные Акрополису, на котором не раз пировали турецкие паши. Научные и поэтические симпатии к классическому музею Греции привлекли на её сторону расположение Европы. Было бы очень некрасиво и противно архитектурному стилю, если бы на храме Парфенона была воздвигнута магометанская луна, а к храму Мезея приделали бы минарет мечети. Турки имеют мало вкуса, и они не раз

украшали подобным образом развалины античных храмов.

Россия, встречая Фора, поставила на Невском статуя Мира, и её крылья осенили также маленькую Трещию, которой мы от души желаем растишь на богатых фессалийских полях не национальный шовинизм, а оливковые ветви, плоды которых так превосходны в Трещии. Под сенью этих ветвей греки теперь могут спокойно кушать свои оливы и посылать нам, если не свои симпатии, то своё отменное оливковое масло. Оливки, как плоды мира, положительно бесценны!»

...Зимние месяцы 1898 года и до середины марта Шуф по ночам, борясь с головной болью, правит корректуру романа в стихах «Сварогов».

А.С. Суворин (10), по просьбе Шуфа ознакомившийся с романом в рукописи, «Сварогова» принял холодно. 17 февраля Шуф помечает в дневнике:

«Был у Суворина. Романа моего не принял. ... «Вы конечно не претендуете быть Пушкиным» сказал Суворин. ... хорей ему вообще не нравится, а если сделать выборки для «Нового времени» — пусть я обращусь к Буренину (11).

Это ... бесполезно. Мне очень тяжела неудача. Судьба и несчастья преследуют меня. Надо бороться. М. не хочет издавать на наши деньги роман. Я был в отчаянии. Пришёл Бунин и вступился за меня. М. сдалась и согласилась, что роман издать надо».

2 апреля – роман, издание которого обошлось Шуфу и М. в 625 рублей, был доставлен автору на квартиру.

Конечно, Шуф не претендовал быть Пушкиным.

Но в романе, как и в пушкинском «Евгении Онегине», восемь глав.

Как и у Пушкина, роман назван именем главного героя.

Как в образе Евгения Онегина Пушкин хотел показать образ героя времени, так и в Дмитриии Сварогове Шуф рисует образ героя с в о е г о времени.

У Пушкина в «Евгении Онегине» – противопоставление высшего света Петербурга и Москвы. У Шуфа – высший свет в условиях Петербурга, и тот же свет в реалиях Ялты, на курорте.

У Пушкина дуэль Онегина с Ленским; у Шуфа – Сварогова с Остолоповым. Разница лишь в том, что там – пистолеты; здесь – папиры.

Но если у Пушкина Онегин – равнодушие к жизни, наслаждениям, то у Шуфа Сварогов – ро-

мантик, мечтатель, удалой наездник, поэт-лирик, искатель любовных приключений. Сварогов – это сам Шуф.

*.. Праздной мыслью, скудным чувством,
Современный человек
Равнодушен стал к искусствам.
Век урадка, жалкий век!
Только пошлость, только глупость
Восхваляются у нас,
Ограниченность и тупость –
Выгружают дум запас.
Пошлость всюду в важной позе.
Всюду мелочная спесь, –
В нашей жизни, в рифме, в прозе,
В маскараде шумном здесь...
И над всем владычит паки,
Безразлична и слепа,
В галстукe, манишке, фраке
Просветённая толпа!*

*Лишь насмешливой сатире
Наступили времена,
Но едва ль на русской mire
Может прозвучать она!
Сочетать сарказм могучий*

Нам с иронией нельзя,
И не в поручонку трескучий!
Мелким мелкое разя
Пошлость сделаем пошлее,
И её оружие взяв,
Мы богиню в эмпирее
Поразим среди забав.
Ни Державинские оды
Нам нужны, ни Кантёмур —
Колкий юмор, смех свободы,
Лёгких муз весёлый пир.
(«Сварогов». Глава пятая, стих. VII–VIII)

5 июня. Из дневника Владимира Шуфа:

«Не писал. Тоска на сердце. Сердце опять
разболелось — в первый раз за год. Жизнь пу-
ста. До слёз. Скучно. Книга моя мне ничего
не даёт».

13 июля — крик души:

«...Строчки нужны.: мне приходится о всех
заботиться, кормить, работать, а меня,
кажется, никто даже не жалеет».

14 июля:

«...Трустно. Плакал. Жить тяжело».

15 июля:

«Сегодня день моих иленин . М. не приехала и сегодня . Пробовал писать , но сердце так разболелось , что я бросил . Очень больно . . . Тил Валерьяновы капли» .

После выхода романа «Сварогов» Шуф начал хлопотать о поездке в Америку – корреспондентом. Но едет его молодой приятель – Пяст.

А тем временем в Петербурге выходит второе, дополненное, издание «Крымских стихотворений». Все стихи, вошедшие в сборник, публиковались в газетах и журналах: «Вестник Европы», «Новое время», «Артист», «Наблюдатель», «Неделя», «Живописное Обозрение», «Петербургская жизнь», «Петербургский листок», «Московский листок», «Шут», «Осколки» и др.

...С 27 сентября Владимир Шуф в качестве придворного корреспондента при штабе германского императора Вильгельма участвует в поездке в Палестину, Сирию и Египет. С Шуфом, естественно, Осман.

Обратный путь пролегал через Крым.

*Берег солнечного края,
Крым, роскошная страна!
Чуть колышется, играя,
Там жемчужная волна .*

Далеко синее море,
Там лазурен небосклон,
И маяк на Ай-Тодоре
Волн хранит лукавый сон.
Ясны гор крутые склоны,
И над зеленью долин,
Грозный царь в зубах короны,
Встал Ай-Петри исполин.
Там всё дышит южным зноем,
И, со скал склоняясь вниз,
Тробождён морским прибоем,
Шепчет чуткий кипарис.

II

У лазурного залива,
В кущах лавров и мимоз,
Безмятежна, прихотлива,
Дремлет Ялта в лени грёз.
Там, крестом своим блистая,
Белый храм глядит с холма,
И рассыпались, как стая,
Чайки-дачи и дача.
Их сады гостеприимны,
Поцелуй там горячий,

И свидания интимны
В тёмном сумраке ночей.
Но от путников нескромных
Ограда кустами роз,
Там, приоткрыты южанок тамных,
Скрыт балкон под сетью лоз!

III

И, подобно Байям Рима,
Ялта осенью манила
Нас на южный берег Крыма.
Сей купели отчий вид
Исцеляет все недуги.
Взяв немного ванн морских,
Здесь флиртуют на досуге.
Наш курорт не для больных.
Петербургские Минервы,
И Диан, и франтов рой,
Здесь расстроены нервы
Лечат августа порой.
Бесподобна наша Ницца,
Я люблю её красу...
Мы «знакомые все лица»
Зрим в купальне «Саглык-Су».

IV

*В фешенебельной и модной
Сей купальне, в зыбди вод
Всюду плещется свободно
Нимф прелестный хоровод.
Чуть одеты, полунаги,
Нимфы борются с волной
И плывут в солёной влаге,
Отпрокинувшись спиной.
У протянутой верёвки
Хахот, плеск, весёлый шум,
Видны женские головки
И купальщицы костюм, —
Чепчики и панталоны,
Нимф кокетливый наряд.
Бородатые тритоны
Ловят взглядами Наяд.*

«Сварогов». Часть вторая, глава первая.

«В курорте»

19 ноября Шуф с Османом – в Ялте.

21 ноября – встреча с женой. Шуф пишет в дневнике:

*«...вечером поехали ко мне на дачу. Ю.И.
(12) совсем старуха. Сами (13) не было – жаль!*

Меня дичится! Ю.И. не захотела познакомиться».

И далее будет продолжать:

«Вторник. 24 ноября. Наконец, встретил у гимназии Сашу. Я сидел с Османом в кофейне у моста. Как Саша вырос. Немножко ниже меня! Какой милый, говорит обо всём, меня и всё своё детство помнит хорошо, любит меня. Был с ним в ... (слово не разб.). Обедали, гуляли вместе. Вечером мы пошли к Ф.К. и я простился с Сашей — до завтра. Дал ему 2 р. Обедал у Ф. К.

25 ноября. Среда. ... В 2 часа встретил Сашу и пошёл с ним на дачу.... Обедали, пили чай там. Играл с Талей (?) в шахматы, осматривал хозяйство — новая постройка для лошадей, свиней, выгона ... (слово не разб.) кошки, виноград, индюки, Александра Андреевна тоже там — башню перестроили, расширилась, лампу ... (три слова не разб.). Всё грязно и бедно. Концы с концами сводят. Ю.И. совсем старухой стала. Вернулся в Ялту по тропинке с Сашей. Море

огней Аутки и Ялты в темноте. Дорожка почти та же — однако ... (слово не разб.). День был чудный — вечером прохладно. Был у Ф.К. Сама простился со мной и исчез в сумерках Виноградской улицы. Я видел его гимназическое пальто, уходившее в темноту. Как мы редко видимся с ним. ... (слово не разб.). Талечка, она читала сидя на диване со своей кошкой на коленях. Как мила! Милый Сама! Обедал у Ани К. Был смазливый Якубовский, Волков ... (предлож. не разб.). Тосковал — поэт ли я? Хоть бы деньги были, остаться бы в Ялте, видеть детей, заниматься коммерцией, антрепризой, достать денег. Боже мой, помоги же мне! Мысли нахлынули. Пошёл ночью пройтись по набережной. Темно, море чуть плещет, один городской на улице — огни погасли. Был у флигелька в саду Витмера, где жил с М. Всё вспомнилось. Писать статьи не могу ... Господи! Господи!

Декабрь

Вторник. 1 декабря. Утром встретил Саму и мы решили поехать верхом. Писоединились

к нам Меркулов и Асан. Ездили на Учан-Су, но в лесу и горах снег. Проехали на Исар через Ауфку. Знакомые места. Сама хорошо ездит, приятно иметь такого большого сына. Ему 13 лет, он в 4 классе и красивый мальчик. Сама завёз ранец домой. Я заехал с ним и был последний раз на даче ...

Среда. 2 декабря. Купил шапку, бурку и башлык. Белые — прелесть. Сделал снимок фотографии — на скале, у Дерикоя, дача Олехновича, верно. Ездил по Дериковской дороге к Мордвиновскому саду. Был у Марины. Бедный ангел! Простился с нею. Звал приехать вечером, но она не приехала — Штангеев (?) умер. Обедал во «Франции» с Горбуновым, пошёл к Ф.К. и решил вопрос в газете. Может быть, приеду в Ялту. Завтра едем. С Сашей и Талей так и не придётся проститься. Поцеловал, ... (два слова не разб.) словно предчувствовал. Милый мальчик! ... Ночью укладывался. ... (слово не разб.) слышен шум ялтинских окраин. Прощай, Ялта! Сварогов в Крым с М.В.»

Пробыв две недели в Ялте, Шуф возвращается в Петербург. Литературные посиделки с Бальмонтом, Буниным, Лохвицкой, Льдовым, Скроботовым, Мережковским, Гиппиус, Маминым, Фофановым. Хождение по редакциям в поисках денег.

...Последняя страница дневника Шуфа заканчивается словами:

«... Денежное состояние плохо. ... Долгов – 470 р. Авансу в редакции – 394 р.»

...Весь 1899 год Владимир Шуф – завсегдагой «Поэтических пятниц Случевского».

В активе у Шуфа изданные произведения – поэма «Баклан», книга «Крымских стихотворений», роман в стихах «Сварогов», сборник поэтической прозы «Могила Азиза. Крымские легенды», публицистические книги «Записки военного корреспондента о греко-турецкой войне» и «На Востоке», он сотрудник нескольких петербургских газет...

В 1900 году у Шуфа обостряется туберкулёз, принудивший его жить на юге. Шуф обустроивается в ...Одессе.

Резонный вопрос моего читателя:

– «А с чего это, имея в Ялте собственную дачку, садик, жену и двоих детей, Владимир Александрович поселяется в Одессе?»

И, действительно, с чего?

Хотя, положи руку на сердце, – нас это ни каким боком не должно... В каждой избушке, как говорится, – свои погремушки.

И всё же – не любопытства ради, а справедливости для....



Семейные узы

Зависимость жизни семейной делает человека более нравственным.

А.С. Пушкин

Природа, создав людей такими, каковы они есть, даровала им великое утешение от многих зол, наделив их семьёй и родиной.

У. Фосколо (14)

Был сердцем слаб –
Погиб от баб.

В.А. Шуф. Эпитафия.

Как мы с читателем уже знаем, Владимир Шуф женился в 1883 году, после поездки в Ялту, где он лечил лёгкие. Избранница – троюродная племянница композитора Михаила Глинки Юлия была из обедневшей дворянской патриархальной семьи. Женитьбе предшествовала восьмимесячная переписка между влюблёнными. Владимир Шуф написал невесте 22 письма, невеста своему жениху – 24. (15)

Далее я передаю перо Зинаиде Ливицкой. Но после нижеследующей преамбулы.

С Зинаидой Георгиевной мы пересеклись, разыскивая следы Владимира Шуфа. Мы шли разными путями, у нас были разные возможности, разные способы и подходы, разные «подручные» средства. Но сошлись мы в одной точке. Договорились о встрече. И она случилась. На Набережной Ялты. Перед зданием бывших купален. Возле скульптурной композиции «Дама с собачкой и Чехов». В массе гуляющих по Набережной мы как-то сразу вычислили друга. Обменялись информацией. Быстро выяснилось, что у нас с Зинаидой Георгиевной в Ялте много общих знакомых. И познакомил нас поэт Владимир Шуф.



Зинаида Ливицкая

Зинаида Ливицкая – старший научный сотрудник, заместитель директора по научной работе Ялтинского историко-литературного музея. Автор концепций «Дмитриевских чтений», посвящённых истории Южного берега Крыма, музея А.С. Пушкина в Гурзуфе, отдела Ялтинского историко-литературного музея «Культура Ялты XIX начала XX веков», участник и организатор многих музейных выставок, конференций, чтений и краеведческих изданий. Лауреат премии им. А.П.

Чехова. И главное – автор уникальной книги «В поисках Ялты. Записки музейщика», где, в частности, рассказывается о Владимире Шуфе.

Сказать, что Зинаида Ливицкая удивительнейший человек, значит – ничего не сказать. Посему возвращаемся к любовной переписке молодых людей и здесь, как и обещалось, слово Зинаиде Георгиевне:

«...это письма о любви, о любви русских Ромео и Джульетты, которых разделили бациллы, расстояние от Ялты до маленькой смоленской деревушки, непонимание родных», – говорит Зинаида Ливицкая в книге «Поиски Ялты» (Стр. 124)

«Влюблённые пишут друг другу часто, сетуют на почту, расстояние, погоду, которые, как им кажется, препятствуют их общению. Когда им совсем тоскливо, они смотрят в одно и то же время на луну или Большую Медведицу. Если смотреть на один и тоже предмет одновременно, то взгляды обязательно встретятся – считали они.

Представьте себе: семнадцатилетний юноша, романтический поэт, умный, с амбициями, пылкий, влюблённый, оказался вдали от родины, семьи, друзей и любимой, среди чахоточных больных, умирающих...»

...«Я болен, далеко от тебя, кругом нет ни одного близкого, сочувственно относящегося человека, всё кругом чужое. Вечно один,

один со своими мыслями и думами, кругом
больные, умирающие, некоторые уже умерли...
ужасно, ужасно! Какое невыносимое впечат-
ление производит всё это! Видишь молодых
девушек, молодых людей, которым вся жизнь
должна быть будущим, а они уже на краю
могилы. Сам болен, самому, может, пред-
стоит такая участь <...> О, какие есть
несчастные! Вчера я был у одного моего зна-
камого молодого человека — он умирает один,
среди чужих... О, Боже, за что?...» (16)

Мне снилось, что я умираю.
Открылась в груди моей рана,
И серые выступы скал
Терялись в обрывках тумана.
И полон был мир тишиной...
Седою вершиной кивая,
Как чёрный монах, надо мной
Стояла сосна вековая.
И странной печали полна,
Склонясь в облаченье ургамал,
Меня утешала она
Своим примиряющим шумом.

(«Крымские стихотворения» 1890 г.)

*Вижу, кипарисы рубя́т, через силу
Через силу вышел я из дома,
чу́ть забрезжил свет:
«Э́то на поляне тёмную могилу
Рую́т для тебя!» – сказал мне Магале́д.
Ах, не жалко, если волосы седые
И морщины встретя́т свой последний час.
Но зачем же часто жертвы молодые
Лохи́щались смертью раннею у нас!*
(«Крымские стихотворения» 1890 г.)

«Ему одиноко, он растерян – пишет Зинаида Ливецкая. – Только письма Юлии, «милые, дорогие письма», – счастье для него. Он уверен: он выздоровеет, придет к своей Джульетте, и они больше никогда не будут расставаться, «тогда им можно будет идти рука об руку на протяжении всей жизни», потому что «Бог со всеми правыми» (17).

«...Теперь о ней, русской Джульетте. – Продолжает Зинаида Григорьевна. – Юлия живёт в глуши, в Смоленской губернии, в имении родителей. Она рано осиротела, и хотя у неё есть старшие братья и сёстры, они не проявляют к ней участия, она живёт одиноко. Каждый её день похож на предыдущий. «Я встаю в 8 часов, – пишет она, – до 10, а иной раз и дольше пью чай. <...> А также смотрю, чтобы печи вытапливались хорошо. Напившись

чаю, отправляюсь по хозяйству, сначала в конюшню, потом на скотный двор, потом на гумно, вернувшись оттуда, я сажусь на лежанку и работаю, шью, вышиваю. Три часа обедаю, в 5 – дают самовар, и я до восьми, а иной раз до половины девятого пью его, беседуя со своей публикой. <...> Как только бьёт одиннадцать, я ужинаю и отправляюсь спать, на сон прочитываю некоторое-нибудь из твоих писем. Потом засыпаю. И так изо дня в день, всё одно и то же, но я счастлива, мой дорогой, несмотря на такую мизерную обстановку, надежда на будущее, как яркая звёздочка в тёмной ночи, светится, и будь жизнь в тысячу раз хуже, всё-таки можно жить»...» (18).

«День молоденькой, хрупкой девушки наполнен заботами по хозяйству. Лишь вечером она усаживается «на своё место у зеркала» и пишет Владимиру, потом, сидя на лежанке, вышивает или шьёт под унылое пение горничной Марфы.

Она часто молится за него, за себя, за свою любовь... Но её терзают сомнения: не грешна ли их любовь, есть ли у них будущее, ведь она старше его, небогата образования хорошего не получила, а он ещё так юн, не окончил гимназии, ему надо учиться, у него впереди жизнь и он не должен «брать на свои плечи семью...» Порой в письмах Юлии проскальзывает беспокойство, это связано с их планами на будущее.

<...> Но главное для Юлии – его любовь, его счастье. Любовь поднимает её над повседневностью. Владимира над повседневностью поднимает творчество, оно, как сияющий луч освещает дорогу к Богу. Но творчества нет без вдохновения, нет без любви. Поэтому он так ждёт письма от своей возлюбленной» (19).

*Затерянный в неведомой глуши
Среди миндальных рощ, пленительного юга,
Я вестн радостной от северного друга
Жду всю силу измученной души.
Но редки для меня отрадные мгновенья.
Далёкие друзья не балуют меня –
Давно волнуют их иные впечатленья
И злора вечная минующего дня.
Пред ними новые, неведомые лица
Несёт вблизи житейская волна.
Из милых должников особенно одна
Неисправимая и вечная должника.
На пышных раутах ликующей Москвы
Её, наверное, не раз встречали вы.
Бывало, жду напрасно почтальона
И грустно в сад смотрю я из окна,
И разве изредка с воздушного балкона*

Письмо, как розу, бросит мне она.
И радостна певцу счастливая награда.
Но если долго нет желанного цветка
Невольно в душу мне закрадется досада,
И вера светлая, и радость — далека,
И в сердце вновь сомненье и тоска.
Но есть души моей одно воспоминанье,
Которое всегда отрадно для меня!
При нём немислимы сомненье и страданье,
Как мрак ночной при ярком свете дня.

И вижу я себя ребёнком в детстве дальнем.
В гостиной света и шумный смех гостей;
Но вы одна остались в нашей спальне
Среди неубранных и дремлющих детей.
Лежу в кровати я, прильнувши к изголовью,
А вы с улыбкою склонились надо мной,
Как будто мать над дочерью больной,
И взор ваш теплится и лаской, и любовью,
И ваши локоны в мерцанье ночника
Бегут на грудь капризною волною,
И в кольцах золотых красивая рука
Блестит алмазами и нежной белизною.
Всё это помню я в неясном, чудном сне,

*И веритья тогда невольно в дружбу мне.
Но будет! Вдалеке мои простые речи
Замрут без отклика, как беглый плеск волны.
Не ждёт меня опять отрада новой встречи
При блеске и цветах ликующей весны.
На чуждых берегах изгнанник позабывший,
Участья тёплого напрасно я искал —
Я слышу здесь лишь моря шум сердитый,
Во мгле ночной среди прибрежных скал,
И всё, что было мне так дорого, так мило,
Судьбою у меня на век отнято было.
(«Письмо») («Крымские стихотворения»), 1890 г.)*

«В тот первый ялтинский год, — заканчивает Зинаида Ливицкая, — Владимир Шуф много пишет. В письмах Юлии он сообщает: «...почти всё свободное от лечебных прогулок время пишу стихи»; «в Ялте я уже много написал стихов и много наверно ещё напишу»; «я просто записываю стихи и они выходят теперь так хорошо»; «поэзия, положительно, моя жизнь»; «какое наслаждение, милая Юличка, писать стихи». С поэзией, творчеством Шуф связывает своё будущее: «это цель мой жизни, — пишет он, — но если быть по-этом, то «русским Шекспиром» или, по крайней мере, «крымским Лермонтовым» ...» (20)

*Все ваши горести промчатся без следа.
И вас увижу я весёлой и счастливой,
Как в ясных небесах вечерняя звезда.
И он, мой верный друг, испытанный судьбою,
Богатый знанием наставник добрый мой,
И вас из вечной тьмы сомнений за собою
Он к счастью поведёт дорогою прямой.
Да, оба радости и счастья вы достойны!
Любовь осветит вам печальной жизни путь.
А я... как странник,
я плетусь в полдень знойный,
И где мне душой усталой отдохнуть.*

(«Из письма» («Крымские стихотворения»),
1890 г.)

...Переписка влюблённых обрывается после заключения ими брака, а через 8 лет прекращается их совместная жизнь.

Как моему читателю уже известно, в 1892 году Владимир Шуф переезжает в Петербург. Почему произошёл разрыв с некогда горячо любимой Юлией, и был ли он вообще?

До 2006 года, то есть до окончания полной расшифровки дневника Владимира Шуфа, все, кто что-то слышал о поэте, кто писал о нём, кто общался с его дочерью Натальей (21), даже и подумывать не могли, что у Шуфа была вторая семья.

Насколько скоро после переезда в Петербург Владимир Шуф женился во второй раз? Во всяком случае, в 1898 году в его дневнике часто проносятся имена двух сыновей – Андрея и Юры; имя жены скрывается под инициалами М.И.

(К этим инициалам мы ещё вернёмся).

При прочтении дневника напрашивается вывод: ни та, ни другая жена Владимира Шуфа о существовании друг друга не знали. И если жена Юлия никаких хлопот поэту не доставляла, то жена М.И. – выматывала, устраивала скандалы, ревновала, постоянно требовала и требовала денег.

Из дневника В. Шуфа:

«Среда 27 мая. <...> М. начинает ревновать меня к барышням. Ново! Чёрт знает что!...»

«Суббота 30 мая. <...> М. устроила грязную сцену. Разговоры, неприятие, словно изменил ей. <...>»

«Среда. 3 июля. <...> Тужал с М. Всё время разговоры о «барышне». Объясняюсь без конца. Не обедал сегодня».

*За измену ты не мало,
Милый друг, меня бранила,*

И цехать ты желала,
Но осталась — очень мило.
Подозренья и цурёки,
Каждый день мольбы и сцены. —
Вот теперь мой рок жестокий.
Наказание измены!
Осудить возможно ль строже?
Мой поступок, правда, скверен. —
Изменив тебе, я всё же
Был тебе душою верен.
Не чини же надо мною
Суд суровый, бессердечный —
Ведь измены той виною
Был свет месяца, конечно.
Это лунное сиянье,
Соловьиных песен трели, —
Ах! — прескверное влиянье
На меня всегда имели.
И когда б я шёл с тобою,
И лучи сияли те же, —
Спутав всё, я мог, не скрою,
Изменить... с тобой тебе же!
(«Крымские стихотворения»)

...«Четверг. 4 июля. <...> Условия работы скверные. Опять бранились с М. из-за денег. Скорая поездка в Крым при таких условиях нелепая. Надо взять себя в руки».

«Среда 24 июня. <...>.. не писал, потому что ссорился с М. – всё пилить за деньги».

«Четверг. 9 июля. Привёз М. 15 р. Меня озабочивают деньги – работаю, а всё мало, и аванс, забранный вперёд, не уменьшается».

«Воскресенье. 12 июля. Утром совсем поссорился с М. и уехал в город. Точно, невыносимо от сцен, подозрений, ревности, упреков. Сердце очень болит. Хочется быть одному...»

«Четверг. 16 июля. <...> Написал фельетон «Современная сказка» и отправился в редакцию. Туда приехала М. и объяснялась со мной...»

«Пятница. 17 июля. М. опять спорила, собирается расходиться, точить (?) за капитал и его неприкосновенность: говорит, что я ничего не зарабатываю и что не могу содержать семью. <...>.. изучает мой дневник. Несносно! Сердце болит...»

«Вторник. 21 июля. <...> М. поехала в город. <...> М. получил в редакции 60 р. а за вычетом 70 р. Аванс 352 р. ... Несмотря на то, что сердце болело, за неделю написал 5 фельетонов».

«Вторник. 28 июля. <...> Ссора с М. из-за денег <...> Заработал 76 р. за неделю – 6 фельетонов было».

«Суббота 12 декабря. <...> Устал. Вечером ездил объясняться с родными. Всё обошлось хорошо. Развод – через два года...»

И наконец, на последней странице дневника Владимир Шуф подводит итог:

«<...> .. произошёл окончательный разрыв с М. А после ряда тяжких сцен мы ещё живём вместе на одной квартире – ради детей... <...> Жизнь усложнилась – две квартиры, две семьи и Осман...»

Две квартиры, две семьи – это не то, что подумал мой дорогой читатель. В одной квартире жил сам поэт с постылой женой, детьми и Османом, другую он снимал для своей новой пассии – Мани, которая уже ждала от Владимира Шуфа ребёнка. Не забывал Владимир Шуф и про крым-

ских детей – от случая к случаю высылал им деньги, игрушки.

Подводя итоги 1898 года, он отмечал в дневнике:

«<...> Работал много и хорошо, но авансы изводил. <...> В этом отношении и этот год великолепен, как прошлый. Там (22) Трещня и А.К. – здесь (23) Палестина и М.Р. ...»

Так что, между нами, читателями, говоря, – у М.И. причин для ревности было предостаточно. (Взять хотя бы таинственную, забеременевшую М.Р.)

...Развелись ли супруги, как и обговаривали, через 2 года, то есть в 1900 году? Не суть.

Но ясно, как белый день, что в 1900 году из-за обострившегося туберкулёза поэт, репортёр, путешественник, презрев Ялту, поселился с Османом в Одессе, где активно сотрудничал в газетах «Одесский листок» и «Одесские новости». Не забывал он и еженедельный журнал, издававшийся под редакцией В.С. Лихачёва в Петербурге членами кружка «Вечера Случевского» (24).

Не одесским ли житьём-бытьём навеяно его стихотворение, опубликованное в 18-ом номере «Словца» за 1900 год?:

У лукаморья дуб зелёный
И вензель есть на дубе там
(Его чертил кадет влюблённый).
Там гриб белеет под кустом,
Там на невидимых дорожках
Скамеек нет, нет фонарей.
Избушку там на курьих ножках
Я снял без окон, без дверей.
С супругой бабою-ягою
Я жизнью там живу благою,
На службу в город еду зря —
И поезду мчишь богатыря.
Там чудеса, там жулик бродит,
Соседка в гамаке лежит,
Тоска там адская находит...
Зато полей любезен вид.
Там горожанин в скуке чахнет —
Там дачный дух, там дачей пахнет.
(«Дачный пролог»)

Семейные узы — непознаваемая тайна человеческих отношений, перед которой пасует всякая научная мысль. Посему и я, дабы не прослыть банальным пересудчиком, завершаю разглагольствования на столь неблагоприятную тему. А что-

бы сохранить лицо перед читателем, попотчую его очередными признаниями поэта:

*Я люблю тебя так, как никто, никогда
Поллюбить тебя больше не может:
Любит так только тот,
кто всю жизнь, все года
И все силы в любовь свою вложит.
На моих же глазах ты росла, расцвела,
С детских лет тебя знал я и видел,
И тебя я берёг от неправды и зла,
И дурное в тебе ненавижу.
В твою душу я первый вложил семена
Добрых чувств, жажду света и знания;
Продушил я тебя от спокойного сна
Для любви, для надежд и страдания.
И тебя не любить мне? Никто, никогда
Поллюбить тебя больше не может —
Любит так только тот,
кто всю жизнь, все года
И все силы в любовь свою вложит!*

(«Крымские стихотворения. Песни юности».
«Как я тебя люблю!»)

Ей же, Марине Олехнович, этой девочке-подростку, выросшей на глазах у Шуфа, влюблённый

ПОЭТ ПОСВЯТИТ ОДИН ИЗ СОНЕТОВ СБОРНИКА «В КРАЙ ИНОЙ».

*Ты любишь Крым осеннюю порой
И парк Массандры в золоте наряда.
Когда мы шли при шуме листопада,
Ты жёлтых листьев тешилась игрой.*

*Как мотыльки, на солнце листьев рой,
Кружась, носился по дорожкам сада.
Ужель была ты их паденью рада?
Они цурцут, припав к траве сырой.*

*Но в золоте, вся пурпуром аллея,
Так царственно украсилась аллея,
Так весело всему смеялась ты...*

*И, облетев, осенние листья
У ног твоих осыпались, желтея, —
Осыпались любви моей мечты.*

(«Массандра». М. 0-вич)

1902 год

31 января 1902 года в половине часа пополудни в древнем азербайджанском городе Шамахи произошло страшное землетрясение. Более 4 000 тысяч домов, восемь мечетей в один миг превратились в развалины и сгорели. Землетрясение произошло в четверг, накануне почитаемой мусульманами пятницы, перед которой мусульмане, главным образом женщины и дети, посещали бани. Погибло свыше 2 000 человек, 16 000 тысяч остались без крова, без еды.

Подземные толчки продолжались несколько дней.

Вскоре среди руин города и обездоленных можно было видеть трёх всадников: один беседовал с людьми, делал записи, другой набрасывал в альбоме рисунки, третий выполнял поручения первого и второго. То были корреспондент «Петербургского листка» Владимир Шуф, художник И. Владимиров и преданный слуга Осман.

С поэтом Шуфом всегда приключались истории, в которых он оказывался на грани жизни и смерти.

О расстреле в греческом городе Ларисса читатель мой уже наслышан. В Одессе же, во время одной из прогулок по гавани, Шуф остуился и упал в воду. Не умея плавать, он стал тонуть. Спас Осман. Он при помощи матросов вытащил поэта на берег, где его откачали, привели в чувство. В Шамахе Шуф так же не «изменил» себе – едва не погиб в расщелине треснувшей земли.

...Возвращаясь в Петербург, сидя в вагоне, он написал поэму «Сальфа. Гибель Шамахи».

Поэма начинается посвящением другу, художнику И. А. Владимирову:

*Товарищ, в странствии далёком,
Мой спутник в горестном краю,
Постигнутым печальным роком,
Я для тебя теперь пою,
Поэму выслушай мою...
Ряд пережитых впечатлений
Припомнишь ты и передашь
В минуты светлых вдохновений.
Бери же кисть и карандаш,
Лиши картину разрушений,
Картину бед, – виденье зла,
Какой в те дни она была,
Когда тревожен и печален*

SAMVAXI

- " ... Среди камней, на пыльной гряде,
- Нестрепой выюки на верблюде,
- Горит костер, "и вновь живёт,
- Хлопотет, лавки открывая,
- Назад вернувшийся народ,
- И суета кипит живая
- Над свежей насыпью могил.
- Воскреснет город, оживая,
- Он будет там же, где и был..."

Владимир Шуйф (Берез)

Тибель Шемахи.

(САЛЬФА).

ПОЭМА

С рисунками художника К. К. Вачаговра



ИЗДАТЕЛЬСТВО
Госиздат книги, Северо-Кавказский филиал, Ставропольский обл.
1902

Землетрясение 1902 г.

Шемаха.

*Ты проходил среди развалин .
Не могут передать стихи
Конец ужасный Мемахи . . .
Он был страшней восточной сказки,
Моё перо бессильно тут, —
Лишь только живопись и краски
Картины зла передадут .*

Поэма с рисунками И. Владимирова вышла отдельным изданием в 1902 году в типографии «Петербургского листка». Все вырученные от продажи книги деньги Владимир Шуф передал в помощь пострадавшим от землетрясения.

*Вдруг гром подземный прокатился,
Тревожно вздрогнула земля,
Вершины гор, холмы, поля . . .
.....
Смятенье, ужас . . . Пали груды
Каменьев, щедня и земли .
Смешались люди и верблюды
И, ослеплённые, в пыли,
Бегут по трюпам, по обвалам,
Вдоль улиц, в страхе одичалом .
Прижав к груди ребёнка, мать
Другого силится поймать,*

Но с треском рухнул дом соседний
Во двор, и на глазах у ней
Малютка скрыт дождём камней.
Ещё надеждою последней
Пустая площадь всех манит.
Сюда народ, толпясь, бежит
И, сбившись в кучу, полный страха,
Взывает к помощи Аллаха.
Но он врата для бед отверз...
Всё гибнет, — женщины и дети,
Былинки жизни в юном свете,
И на базаре жадный перс,
Спасавший золото и ткани.
Повсюду воплей и рыданий
Над Шемахой поднялся стон, —
Предсмертный крик со всех сторон.
Обломки кровель, балки зданий
Нагромодились, и кругом
За домом падал новый дом.
Где Шемаха, очей отрада,
Любви и роскоши приют?
Развалин каменных громада
Одна лежит во прахе тут.
Над ней в безумии снуют

*Москвой измученные люди,
Родных и близких в пыльной груди
Найти стараясь, к небесам
Напрасно руки подымая.
Но безответна смерть немая
К призывным крикам, голосам...
И вдруг, в последнее мгновенье,
Среди тревоги разрушенья,
Подняв высоко пламень свой,
Стал колыхнулся огневой.
Огнём мгновенного пожара
Обдаты улицы базара,
И дым на площадь повалил,
Неся удуще, чад и пыль...*

(Из поэмы «Сальфа. Гибель Шамахи». 1902 г.)

Со второй половины 1902 года в творческой жизни Владимира Шуфа происходит важнейшее событие – поэт приглашён в газету «Новое время». Приглашён самим столпом русской журналистики Алексеем Сергеевичем Сувориным! «Новое время» читала вся читающая Россия. Многолетний сотрудник газеты В.В. Розанов (25) говорил: «Было впечатление, как бы других газет не было... На десятки лет «Новое время» сделало неслышным ничей голос, кроме своего».

•”... Корреспондент
должен описывать
события, а не делать
выводы о собственной
опасности или
безопасности...”



Василь Тертеров — корреспондент
в А. ГИЗЕТЬ.
Успешно описывая события, он
не делает выводов о собственной
опасности или безопасности.



Василь Тертеров — корреспондент
в А. ГИЗЕТЬ.
Успешно описывая события, он
не делает выводов о собственной
опасности или безопасности.

Василь Тертеров — корреспондент
в А. ГИЗЕТЬ.
Успешно описывая события, он
не делает выводов о собственной
опасности или безопасности.



Василь Тертеров — корреспондент
в А. ГИЗЕТЬ.
Успешно описывая события, он
не делает выводов о собственной
опасности или безопасности.



НА БОРЮ.
В А. ГИЗЕТЬ.
Успешно описывая события, он
не делает выводов о собственной
опасности или безопасности.

Василь Тертеров — корреспондент
в А. ГИЗЕТЬ.
Успешно описывая события, он
не делает выводов о собственной
опасности или безопасности.

НОВОЕ ВРЕМЯ



1902г.
Начало сотрудничества.

ВЫСОЧАЙШИЙ СМОТР 147-му САМАРСКОМУ И 148-му НАСЯПКОМУ ПЕХОТНЫМ ПОЛКАМ.
Его Величество Государь Императоръ Сладозоловель ея. имперо египтавещенее на Дальней Востокъ полки.

Съ фот. Л. Ерма.

Издатель самой влиятельной в России газеты не то, что бы хорошо, а очень хорошо платил своим сотрудникам. Надо полагать, Владимир Шуф вскоре рассчитался со своими долгами. Тем более, когда в качестве корреспондента от «Нового времени» побывал в Париже. К слову, в Париже у Владимира Шуфа проживала одна из двух его сестёр. Был у поэта и молочный брат. 22 января 1906 года на поэтическом вечере у Вентцеля (26) Шуф рассказывал, что его молочным братом был молодой пудель: когда он, Шуф, родился, у его матери – то есть у матери Шуфа! – оказалось такое обилие молока, что пришлось прикладывать к её груди брошенную собачку; позже этот пудель тянул тележку, в которой восседал его «брат» (27).

Но упоминание о парижской сестре поэта и его молочном «брате», пожалуй, соотносятся к нашему предыдущему разделу «Семейные узы».

Поскольку я нарушил плавное течение своего повествования, позволю молвить о моих семейных узах: разбередил мне душу своим пуделем Владимир Шуф.

У моей матери тоже было молока – хоть залейся. Роль пуделя исполнял я. Я сосал грудь до трёх лет. Помню – с одной груди кормится мой младший брат, с другой – я. Напитаюсь до отрыжки, и отваливаюсь, как клоп. Лафа кончилась, когда родился ещё один мой брат. С его рождением на-

стали для меня чёрные дни. Отваживали меня от груди тяжело и долго. До истерики. Мать себе соски горчицей мазала.

Видимо, с тех детских лет между мной и моими братьями сохранился некий холодок, и с тех же детских лет у меня нескончаемая, трепетная любовь к большой женской груди – сколько в ней теплоты, аромата, уюта!; как она прекрасна и аппетитна! Большая грудь – это целый мир, хотя её обнимают двумя руками.

Я уже не единожды признавался, что готов простить женщине всё, даже полуспущенный чулок, если у этой женщины большая грудь. Но где нынче встретишь женщину в чулках! Всё в колготках, да в колготках. Уродуют себе одну из самых притягательных частей тела!

Но я увлёкся семейными узами.

И ещё одно нарушение в построении моего, казалось бы, так безупречно сплетаемого повествования: прежде чем нанизать следующему петельку моего литературного расследования, необходимо вернуться в 2008 год – в день моего визита на Поликуровское кладбище. И вот причина: перед парадным входом на мемориал, на бетонной стене среди прочих памятных досок, перечисляющих известных и знаменитых в прошлом людей, похороненных на Поликуре, и чьи могилы утеряны, я наткнулся на доску Праско-

вьи Фёдоровны Жевандровой. «Агент ленинской «Искры» на Юге России. Скончалась в июле 1907 года», – информировал мраморный прямоугольник.

А мне-то что с этого?! Век бы этой «Искры» не было, с Лениным вместе!

Одним словом, имя ленинского агента мне тогда абсолютно ничегошеньки не вешало.

И вот, на тебе! – в 2010 году, продолжая следовать за Шуфом, я вновь натываюсь на мадам Жевандрову!

Оказывается, в июле 1902 года, в то самое время, когда Владимир Шуф начинает работать в суворинской газете, вызывающей колики и зубовный скрежет у будущего вождя мирового пролетариата, мадам Жевандрова, лечась от туберкулёза и живя в доме Шуфа, сообщает в редакцию «Искры», что высылать печатный орган будущих российских большевиков следует по адресу: Ялта, Ливадийская слободка, дача Шуфа, Прасковье Фёдоровне Жевандровой.

Как говориться, без меня меня женили! То есть Владимир Шуф, на дух непереносивший революционеров, о чём со всей открытостью заявит в своём будущем автобиографическом романе, стал невольным пособником погубителей России!

Что это – случайность судьбы или её гримаса? Но в судьбе не бывает случайностей...

И я подумал: «Чахоточной женщине, разрушавшей государственные устои – памятная доска от благодарных потомков, а прекраснейшему поэту, публицисту, путешественнику, патриоту Отечества – забвение? Так не должно быть!»



1904 год

...27 января (9 февраля по нов. стилю) 1904 года японские миноносцы атаковали русский флот на внешнем рейде Порт-Артура. Началась русско-японская война.

В зону военных действий издатель «Нового времени» отправил девять корреспондентов, включая и Владимира Шуфа. Суворин снабдил своих сотрудников огромными денежными суммами, а за статьи выплачивал баснословные вознаграждения.

Как корреспондент, Шуф имел право проезда через все посты русской армии, не раз бывал под пулями, встречался с пленными японцами.

Из телеграмм корреспонденций Владимира Шуфа (Борея) о русско- японской войне(28)

«Раненые, находящиеся в госпиталях Мукдена, рассказывают о возмутительных насилиях, производимых японцами над нашими ранеными, что вполне подтверждается при осмотре четырёх трупов 1-го стрелкового пол-

ка, доставленных с поля битвы... оказалось на одном 26 и на другом 18 штыковых посмертных ран в разных частях тел...

Мукден, 21 июня».

«.. При наступлении японцев в направлении севернее Тайджоу 26 июня вновь на вершинах сопок задержаны были китайцы-сигнальщики, пользовавшиеся ручными зеркалами и условными знаками. Они указывали японцам перелёты и недолёты артиллерийских снарядов, давая этим японцам возможность скоро пристреливаться по нашим войскам...

Злоупотребление японцами флагами Красного Креста снова имело место 26 июня. Когда на передовой линии был ими поднят флаг, наши войска немедленно прекратили огонь по этому месту и перестали стрелять.

Как оказалось, японцы устанавливали артиллерию на позиции в самой непосредственной близости от флага и затем открывали оттуда огонь.

Дашичао, 28 июня».

«.. Как относятся к нам китайцы? Пока мы сильны и платим им деньги, они принимают

женно льстивы и предупредительны. Но я заметил не один косой взгляд, который китайцы бросали на русских солдат. Вчера опять привели под стражей несколько китайских шпионов, служивших японцам. Ловят здесь и хунхузов, если у них на ружьях нет русского штампа и они не принадлежат к отряду Тайпэна, который служит разведчиком в наших передовых войсках. Пойманных хунхузов сдают лаоянскому диванцуню, и он их казнит. Но хунхузов много в окрестностях и в ближайших горах. Мы заботимся об отношении к нам мирного китайского населения...

Дневник корреспондента. Четверг, 24 июня» *.

«8 июля.

Раненый поручик Олтаржевский рассказывал мне подробности боя 4 июля в отряде графа Келлера.

Бой начался ночью. Перед долиной реки Ланхе отряд охотников, где был Олтаржевский, заняли вершину сопки. Артиллерия японская ночью бездействовала и наши успели захватить

* – 19.07.04, № 10194, с.2.

10 японских орудий. Утром Олтаржевский увидел над сопкой отряд, одетый в русскую форму. Оттуда окликнули: «Вы охотники?» «Не стреляй, это наши», — ответили у нас. Но едва отряд охотников спустился с сопки, по ним стали стрелять залпами. Под горой оказались японцы, переодетые в нашу форму. Наши отошли за сопку и начали отстреливаться. Отряд Келлера перешёл в наступление. Граф Келлер всё время был под огнём. Японцы были отбиты перед рассветом. Одна батарея японцев была сразу сбиты и наши бросились в штыки. Поручик Яковлев зарубил офицера, отнял шапку и фуражку, на которой было написано по-русски: «Никола Яковлевич».

Бой продолжался до 6 часов дня. Наши вернулись на свои позиции у Корейской башни. Японцы потерпели такие ужасные потери, что не дали ни одного выстрела при нашем отступлении. Все окрестные высоты были завалены трупами японцев» *

«Как мы живём в Манчжурии. В письмах с родины постоянно повторяется этот

* — Телеграмма.

вопрос, милый, заботливый, полный опасений...

В фанзе тот походный беспорядок, который водворяется при мужской холостой жизни. Офицеры с папиросами в зубах вытянулись на канне. Шашки, нагайки, резиновые плащи висят на стене. В углу свалено седло и рядом стоят сапоги со шпорами. Деревянный стол вроде кухонного завален всякой всячиной: тут табак на листе газеты, туалетное зеркало и бутылка шанхайского коньяку, револьвер, недоконченное письмо, карта Манчжурии...

.. Многие говорят, что можно одичать в Манчжурии, опуститься... это отчасти справедливо. Связь с западной Россией почти утрачивается, письма идут долго. Местные новости крайне скудны и время медленно тянется до первой битьвы, которая всех сразу поднимает, встряхивает, доводя нервы до крайнего напряжения...

Когда один корреспондент составил телеграмму своей жене: «Милая Маня, целую тебя крепко», военный цензор подписал «Разрешаю, полковник N.». Без разрешения мы не можем

посылать ни деловых, ни частных корреспонденций.

Дневник корреспондента» *.

*«.. Хотят сказать, походное снаряжение, которое мы привезли из России, оказалось здесь никуда не годным. Климат и местность Манчжурии требовали совсем иных приспособлений. Требовались серые рубахи, серые фуражки с назаптыльниками, непромокаемые высокие сапоги, голенища которых могли бы отворачиваться в жару, походные вьюки для лошадей, непромокаемые грубые плащи, хорошие электрические фонари, револьверы-карабины и прочее...» ***

«19 июля.

*.. Японцы коварны, как большинство народов Востока. Они, однако, очень ценят русское благородство и добросердечие. Мне удалось видеть письмо пленного японского офицера. Он с восторгом отзывался о русских и говорит о нас японской пословицей: «С ружьём враг, а без ружья – приятель». Увы, о самих японцах нельзя этого повторить...» ****

* – 30.07.04 №10205, с.3.

** – 03.08.04 №10209, с.2.

*** – 14.08.04 №10220, с.2.

Русско-японская война продлилась год и семь месяцев и завершилась поражением России.

Владимир Шуф пробыл на войне менее полу-года. Он ...бежал с неё. Сохранилось свидетельство об этом побеге:

«...Мне пришлось приехать в Петербург, и я, конечно, посетил А.С. Суворина. К этому времени он, как редактор, испытывал массу неприятностей. Один из корреспондентов «Нового Времени» заболел и уехал из Порт-Артура. Другие, по-видимому, ничего путного не присылали. Суворин прямо из себя выходил и кричал, что следовало взять корреспондентом Вас. Немировича-Данченко (29), который «хоть даже чего и не увидит, а всё-таки умело опишет!»

Я попал к Суворину в разгар таких недоразумений с корреспондентами. ...Но со мной он обошёлся приветливо и сейчас же заговорил о Москве, принялся расспрашивать, какие там происходят беспорядки, сходки, волнения (действительно, в Москве уж готовились политические движения, впоследствии разразившиеся в форме настоящего бунта, с «баррикадами» даже!). Я начал рассказывать, и вести из Москвы заинтересовали Алексея Сергеевича. Он слушал нервно, качал головой, ахал, смеялся, негодовал.

Вдруг неожиданно вошёл ныне покойный В.А. Шуф. Я был очень удивлён его появлением. В на-

чале войны я видел его в Москве, в громадной папаче. Он ехал на войну корреспондентом от «Нового Времени», снабжённый полномочиями и средствами. Я спросил, зачем он в папаче.

Шуф отвечал:

– Походная штука, батенька! Кто его знает, придётся в полях ночевать, вот вам и подушка.

И вот он оказался уже в Петербурге, в квартире А.С. Суворина, хотя и без папачи.

Увидав вошедшего Шуфа, Алексей Сергеевич весь так и всполошился. Так и вскинулся.

– Да это что же такое?! Вы что же это, в самом деле? Вам надо на войне быть, а вы изволили бежать с поля сражения?!

<...>

– Вы что это?! – продолжал, вскочив и не сажая корреспондента, Суворин, весь даже сотрясаясь от негодования. – Какая нужда у вас появилась возвращаться? Что вы, заболели, переутомились? Ранили вас?

– Нет, не ранили, – отвечал Шуф, – но японцы наступали...

– Японцы наступали! – воскликнул Суворин. – Так что же из этого? На войне всегда так, или неприятель наступает, или мы на неприятеля наступаем... Дело корреспондента описывать всё это, а вы что сделали?!

– Я опасался, что меня возьмут в плен...

Суворин даже подпрыгнул на месте.

– Да это, голубчик, чёрт знает, что вы говорите такое! Ведь это стыдно и позорно! В плен его японцы возьмут... Что же из того, что вас хотя бы и в плен взяли? Вам это полезно было бы... Может быть, вы вернулись бы из японского плена поумнее... Я теперь весьма жалею, что вас не взяли в плен!

– Но, Алексей Сергеевич, ведь я... не мог же я...

– Молчите! Не оправдывайтесь! Вы только глупости способны наговорить. Вы струсили и убежали с поля битвы... Ваше письмо мы читали, где вы объясняете причины бегства. Вы изволили умозаключить, что всё потеряно, и вот, в компании двоих сотрудников из «Петербургской Газеты» и «Петербургского Листка» (какая компания для вас, подумаешь, отличная!) вы втроём решили удрать... и прямо укатили в Петербург! Очень благородно! И как это подходяще для сотрудника «Нового Времени». Все были в редакции против того, чтобы посылать вас на войну. Я один стоял за вас. Я думал, что вы, как человек ещё молодой и энергичный, оправдаете мой выбор. И что же? Вы даже телеграмм не умели путём составить. Мы получали какую-то дребедень. И только последняя ваша телеграмма был интересна, первая и последняя, так сказать! А затем вы с двумя газетными евреями,

испугавшись японского плена, решили, что самое лучшее, самое умное – это бежать в Петербург! Браво, г. Шуф! Спасибо! Исполать вам...

– Алексей Сергеевич, какой же смысл попасть в плен? – всё не сдавался Шуф, – опасность была огромная!

– Фу, Боже мой! Ваши возражения бессмысленны. Корреспондент должен описывать события, а не делать выводы о собственной опасности или безопасности. Ну, теперь, извините, я вам никаких поручений не дам! Можете безопасно сидеть дома.

– Но, Алексей Сергеевич...

– Оставьте, говорю вам, не возражайте! Можете идти, вы меня только раздражаете! И я вам, в конце концов, так скажу: ваши товарищи по бегству поступили, как дураки, а вы, извините меня, поступили, как дурак в квадрате!

После этого комплимента несчастный Шуф исчез». (30)

...Россия вступала в 1905 год...

Конец третьей книги

Послесловие

Из поэтического наследия Владимира Шуфа

Раскаяние

Дитя моё, вы правы, правы!
Чего желал безумно я?
Для вас нужны ещё забавы,
Мечты и нежная семья,
А я пришёл к вам утомлённый
Искать привета и любви!

Не так ли странник, запылённый,
В грязи, в лохмотьях и в крови,
Прийдя в чужие поселенья,
Не находя участия вокруг,
В ребёнке ищет утешенья,
И видит в нём один испуг.



В. Шугр

•...Убегает тропка в даль,
Могно жизни пережитая,
Могно прошлого печаль.
Но знакомый путь покинут...
Сердцу мило всё на нём,
Дни пройдут, и годы микнут,
Всё изменится кругом!
На него вернуться снова
Нам так редко суждено
Милой памятью былого,
Пережитого давно..."

Сварозовъ



Зимние месяцы 1898г
и до середины марта
ШУСР правит корректуру.

Не тревожь моё сердце разбитое,
Про любовь мне свою не тверди:
Пусть умрёт это чувство забытое
Одиноко в усталой груди.

На пути моём счастье не встретится,
И бесплодно промчатся года –
Для меня в небесах не засветится
Ни одна золотая звезда.

Мою жизнь не наполнишь пустынную,
Не украсишь печальные дни...
Но любовь молодую, невинную
Для другого в душе сохрани!

Обман

В тёмный сад бегут дорожки,
Сон ночной приснился вьявь...
Поскорей, Лаура, рожки
Мужу старому наставь!

На скамейке под сосною
Обойму твой гибкий стан,
Приласкаю, успокою, –
Это сон, а сон – обман!

Твой супруг обманут нами,
И обманута ты мной,
Я ж любви обманут снами,
Этой ночью и луной.

Всё обман в подлунном мире,
В этом мире бед и зла,
Но, как дважды два четыре,
Муж твой глуп, а ты мила!

Поздняя встреча

После долгой разлуки, былых испытаний,
Пережитых в минувшие дни,
Изменённые опытом горьких страданий
Встретились снова они.
И о детстве своём и беспечном, и шумном
Они вспомнили в дальнем краю,
И разбитую ими в порыве безумном
Любовь молодую свою.
Но сломила их скорбь пережитых сомнений,
Для любви опустела их грудь,
И напрасной, и поздней тоской сожалений
Им утраченных дней не вернуть.

Бубенчики

Чары, чары зимней ночи!
День-деньской умчал тень дум.
Светят звёзды – милой очи,
Тройка мчится наобум.

Я любим ли? Сердцем понят
Буду ль я, мой друг, твоим?
Чу! – бубенчики трезвонят:
«Да, да, да! Любим, любим!»

Перекличка, перебранка, –
Точно спор у них о том,
Что опять вернусь, беглянка,
Я один, один в мой дом!

Ах, уйми их спор бранчливый!
Нынче звонче, горячей
Пусть звучит любви счастливой
Поцелуй во тьме ночей!

Пусть с тобой забуду день я,
Тень печали, жизни шум! –
Ты прогонишь, как виденья,
Время, бремя чёрных дум!

Мчатся кони... бьётся скоро
Сердце, – в сердце счастья сон...
Очарован сумрак бора,
Снежный прах посеребрён!

Дуб и мимоза

Элегия

У моря синего, в стране,
Где дремлют царственный розы,
Цвёл дикий дуб на вышине
У ног развесистой мимозы.
Когда порывы ветерка
По гребням волн издалека
К деревьям шумно долетали,
Их листья трепетно шептали,
Спеша послать наперерыв
Ответ на дружеский призыв.
Но крепнет ветер, мчатся тучи,
Встают и пенятся валы...
И был оторван дуб могучий
Волной от рухнувшей скалы.
Утихла буря, солнце блещет,
Синеют в море небеса.
И влажною листвою трепещет
Мимозы нежная краса.
Лучами южными согрета,
Мимоза шепчет, ждёт ответа...
Но медлит дружеский ответ.
Ещё, ещё... ответа нет!
И ветру, пенящему море,
Так говорит мимоза в горе:
«О, ветер! Тихо всё вокруг,

Безмолвен воздух лучезарный –
Меня забыл мой верный друг,
Меня забыл мой друг коварный!
Не шепчут тёмные листы
Его развесистого крова...
О, милый дуб, что дремлешь ты,
Не слышишь дружеского зова?...»
Меж тем в неведомой дали
От берегов родной земли,
С обломком мачты тихо споря,
Плыл старый дуб по воле моря,
Как труп, качаясь над волной.
В иные земли, в край иной.

.....

Не так ли ты в минуту горя
Рассталась, милая, со мной?
Тогда ещё, в былые годы
С тобою вместе мы росли,
Деля и счастье, и невзгоды
От мира шумного вдали.
Но вдруг ударил гром неожиданный
И над моею головой;
На Север бледный и туманный
Был унесён любимец твой,
И в день, когда, борясь с судьбою,
Я погибал в чужой стране,
Ты усомнилася во мне,
И обвинён я был тобою.

Ива

Над плакучей ивой после долгой бури
Пролетала туча в глубине лазури.

Проливая слёзы золотым потоком,
Туча говорила с горестным упрёком:

«Скучен лес угрюмый, опустела нива...
Где наряд, где кудри, где убор твой, ива?»

Отчего склонилась низко головою,
Не шумишь, не шепчешь тёмною листвою?

А бывало, помнишь, на расцвете лета
Как была ты пышно зеленью одета!»

Но молчала ива, с горькою тоскою
Наклонясь вершиной низко над рекою,

И нагие ветви осени печальной
Отражала речка в глубине зеркальной.

К ним

О женщины! О милый, слабый пол!
Меня вы так безбожно обокрали,
Что я, как нищий, беден стал и гол,
И нарядился в рубище печали.

Одни украли деньги у меня,
Другие – сердце, третьи – труд и время,
И, лишь покой мой дешёво ценя,
Оставили в груди страданий бремя –
Хранил ещё одну свободу я,
Как ценный клад, сберечь её мечтая;
Но ручка к ней протянута твоя,
И вот – прости, свобода золотая.

Русь

Цветы, луга и нивы без границы,
Над речкой тень плакучего куста...
Знакомые и милые места!
Снопы вязать на поле вышли жницы.

Повсюду ширь, приволье, красота.
Среди болот поют, скликаясь птицы.
За рощею, встречая луч денницы,
Звездой сияет золото креста.

Там вечный свет и благовест о Боге.
Гул многозвенный слышен из села,
Зовущие гудят колокола.

Молюсь за тех, кто странствует в дороге.
Я не забыл минувшие тревоги,
Но в этот час душа моя светла.

Манчжурия

Капитану Яржемскому

Враждебный край... Причудливо и странно
Лежит узор китайских деревень.
Томящий зной, безмолвие и лень, –
Лишь Тайцихэ рокочет неустанно.

Долинами я еду целый день,
Где заросли густые гаоляна
Широколистную бросают тень,
Неверную и полную обмана.

Там ждёт хунхуз, с ружьём в траве таясь.
Мне тягостны Манчжурии картины, –
Здесь с родиной крепка лишь сердца связь.

Зелёных сопок острые вершины
Закрыли даль, печальны и пустынно...
Громада гор зубцами поднялась.

Тайга

Глушь, бурелом, корявых сосен ряд,
И без вершин берёзки молодые
В слепой тайге уродливо стоят.
Твой грустен Север дальняя Россия!

Он даже песней птичек не богат, —
Не слышно их и чащи спят немые.
Дичок-козёл сквозь заросли густые
Один кричит, блуждая наугад.

Унылый край печали и изгнания!
Среди болот, таёжника нога
Найдёт ли путь к посёлкам без названья?
Здесь счастья нет, здесь жизнь недорога
И тёмные, как глушь лесов, преданья
В моей душе встревожила тайга.

Горящая тайга

Горит тайга... Среди ночной поры
Зажглись в лесах гигантские костры.
В глуши дерев, где скаты гор отлоги,
Бегут, змеясь, огнистые дороги.
Седая ель по веткам, вдоль коры
Вся вспыхнула и ночь полна тревоги.
Из угольев, из пламенной игры
Сложились башни, замки и чертоги.
Всё заревом кругом озарено.
Мне вспомнился в видении мгновенном
Волшебный лес, что был зажжён Исменом.
Огонь страстей погас во мне давно,
Душа чужда тревожных чувств изменам
И всё во мне так тихо, так темно...

Из поэмы в септимах «Гортензия»

I

Пила целый праздник родимая Русь, –
Руси есть веселие пити, –
А сколько пила, я решить не берусь:
Не хватит в фантазии прыти.

Бочонков от пива и ведёр вина
И водок различнейших штофы,
Наливок, настоек не вложишь сполна
В короткие, звучные строфы.

Один пономарь мне рассказывал сам,
(С причётником шёл он, заикой),
Как змей, цветом зелен, взлетел к небесам,
Простёршись над Русью великой.

Дубравы и степи, и Волгу реку
Одел он своими крылами,
И рек пономарь, направляясь к шинку:
«Святые угодники с нами!»

Но тут, спотыкнувшись – попутал знать враг,
Нечистому всё на забаву, –
Упал пономарь одесную в овраг,
Причётник – ошую, в канаву.

Из романа в стихах «Сварогов»

Часть первая

Глава первая

ХІУУ

Ах, едва мы в колыбели
Появляемся на свет,
Воспитательные цели
Нам приносят много бед!
Вслед за бойкой акушеркой
Наседает педагог
Со своею школьной меркой,
Умудрѣн, учен и строг.
Мы ещё невидны, немы,
Предаёмся дивным снам,
Но свивальником системы
Уж головку портят нам.
Где же ангел наш хранитель,
От напастей верный страж?
Ах, хотите, не хотите ль
Всех постигнет участь та ж!

Глава вторая

ХХХV

Неужель опять дорога,
Снова в путь, опять идти?
Дмитрию встречалось много
Милых женщин на пути.

Часть вторая

Глава первая

III

Впрочем, это отступленье,
Отступлений же я враг.
Дмитрий шёл в своё именьё
По тропинке чрез овраг.
В ложе горного потока,
Пересохшего ручья,
Тропка вверх вилась высоко
По камням, как змея.
По откосам слева, справа,
Рос дубняк и молочай.
Под ногой, скользя лукаво,
Падал камень невзначай.
Но извилистым оврагом,
Распахнув на солнце грудь,
Дмитрий шёл привычным шагом,
Наизусть запомнив путь.

IV

Подымаясь, опадая,
Убегает тропка в даль,
Точно жизнь пережитая,
Точно прошлого печаль.
Но знакомый путь покинут...
Сердцу мило всё на нём.
Дни пройдут, и годы минут,

Всё изменится кругом!
На него вернуться снова
Нам так редко суждено
Милой памятью былого,
Пережитого давно.
Вот дубок... Под ним, бывало,
Сладко в полдень отдохнуть!
Вырос он, но те же скалы,
Так же вьётся горный путь.

V

Кое-где чаиров скаты,
Могаби лесистый склон...
Острроверхий и мохнатый,
Нахлобучен шапкой он.
И под ним, где всё знакомо,
Видит Дмитрий, точно сон,
На холме крутом два дома,
Башню в зелени, балкон...
За плетнём в тени черешен,
Кипарисов и дубов,
Вновь печален, вновь утешен,
Он узнал родной свой кров.
Дом родной! О нём забота,
Вздых тревоги, он нам мил!..
С сердцем бьющимся, ворота
Дмитрий тихо отворил.

VI

Лай собак, и с криком: «Папа!»
Мальчик к Дмитрию бежит.
– Коля!.. фу, Барбос, прочь лапы!
Вырос как! Совсем бандит! –
И целуя, обнимая
Сына, Дмитрий с ним бежит
На крыльцо, и псарни стая
Скачет, лает и визжит.
Ласк собачьих где же мера?
Нас узнав, вертится вокруг
Пёс, воспетый у Гомера,
Одиссея верный друг.
Старой Жучки он потомок.
Дмитрия встречает с ним
Хор прислуг и экономок
И татарин Ибрагим.

VII

– Что же, Коля, все здоровы?
– Шарик, папа, околел!
В рубашонке кумачовой
Мальчик бледен был, не смел,
И, взглянув на головёнку,
Дмитрий еле узнавал:
Сын острижен под гребёнку,
Как солдат, и выше стал.
Всё по-прежнему в столовой:

Лампа, мерный стук часов,
Угол печки изразцовой, –
Лишь поблек дивана штоф.
В зеркало в знакомой раме
Дмитрий смотрит, сев на стул.
«Да, я стал старей... с годами!» –
Он подумал и вздохнул.

VIII

– Где же Пенелопа наша?..
Мама где? – он вслух спросил.
– Мама в кухне. – Черти! Даша! –
Женский голос разносил.
И подобна Немезидам,
С папироскою в зубах,
В дверь вошла с суровым видом
Мать-хозяйка впопыхах.
– Здравствуйте, Людмила Львовна!
– Дмитрий Павлович! Вы тут?
Очень рада! – хладнокровно
Муж с женою руки жмут.
Дама с трёпаной причёской
И бальзаковских так лет,
В старой блузе, с грудью плоской, –
Вот жены его портрет.

IX

Линия метаморфозы
С нами злобный рок творит:
Щёки блекнут, вянут розы,
И проходит аппетит.
Дмитрий помнил, как в тумане,
Милый образ прежних дней:
В бусах, в алом сарафане
Девушку, любви нежней...
Семьи ландышей душистых,
Отражённый в речке бор,
И в орешниках тенистых
Страсти тайный наговор:
Чары – счастье молодое,
Колдовство – любви слова,
В поцелуе – зелье злое,
Приворотная трава!

X

В сельской церкви стройно пели,
Совершали торжество...
Эта дама... – неужели
И теперь жена его?
Есть забавная игрушка,
Кукла детская, фантош, –
То красотка, то старушка,
Как её перевернёшь.

Кувырнётся вниз головкой,
И тотчас, превращена,
Станет старой колотовкой.
Так и Дмитрия жена.
Не успел он оглянуться,
Как она стара, седа,
И назад не кувырнуться
Ей в прошедшие года!

XI

С сыном тоже превращенье:
Он уже не тот, что был,
Он не тот, кого в волнение
Дмитрий так ласкал, любил.
Не стрелок из самострела,
С ним на бабочек вдвоём
На охоту шёл он смело,
Или змей пускал с гудком.
Книжки, ранец вместо лука,
Школьник бросил лук тугой.
Изменила всё разлука, –
Коля это, но другой!
Не кудряв, сложен так тонко,
Рост прибавили года...
И любимого ребёнка
Не увидеть никогда!

ХII

В спальне теплится лампадка.
Из столовой через дверь
Детская видна кровать, –
Всё, как прежде, там теперь...
Дмитрий вспомнил, как с рыданьем
В горький час, в последний миг
Он пред долгим расставаньем
К сыну спящему приник.
Глаз закрылись забывудки,
И ребёнок тих лицом,
И не грезится малютке,
Что прощается с отцом,
Что оставлен, что покинут,
Что разлука суждена,
И, быть может, годы минут
Прежде, чем пройдёт она!

ХIII

О, ужасные мгновенья
В жизни есть! Как смерть они!
Память их – на век мученья,
Сон отравит, ночи, дни...
Есть забвенья старой были:
Охладят года печаль, –
Мы разлюбим, что любили,
И любимого не жаль.

Равнодушно, тихо, странно
В прошлом всё и впереди,
Но неведомая рана
Всё живёт, таясь в груди...
Сердце биться перестало,
Стук его чуть внятен, нем, –
Как часы, оно устало,
Остановится совсем.

XIV

– Папа, не был так давно ты! –
Коля вновь к отцу подсел.
– Мой дружок! У всех заботы, –
В Петербурге много дел.
Ну, у вас всё слава Богу?–
Дмитрий перешёл к жене.
– Существоем понемногу...
Но простите, нужно мне
По хозяйству! Может Коля
Показать вам сад, коров, –
Их уже пригнали с поля.
Да спешите: чай готов! –
Дмитрий вышел вместе с сыном
Осмотреть свой старый сад,
Огороженные тыном
Персики и виноград.

XV

Лошади, бычок с коровой
Дмитрия пленяли встарь:
Сам он фермы образцовой
Вёл в порядке инвентарь.
Эта страсть в душе погасла.
Он любил, судя легко,
С чаем сливочное масло
И густое молоко.
Молоку хвала парному!
Как бальзам, оно дарит
Здравый смысл уму больному
И желудку аппетит.
Дмитрий, возвратясь, в столовой
Всё найти в избытке мог,
Что в столице нездоровой
В редкость: сливки и творог.

XVI

Из стакана отпивая,
Он смотрел, как обтекла
Муть молочная, густая,
Край прозрачного стекла.
Самовар кипел, с балкона
Доносился запах роз...
Дом родной, природы лоно –
Вы прекрасны! Про навоз,

Виноградник, два сарая
Дмитрий говорил с женой
Посреди земного рая,
Перед кринкой неземной.
И куря, Людмила Львовна
Плакалась, среди бесед,
Что вредит ей баснословно
«Степачок, подлец-сосед».

ХII

– Крадет всё мерзавка Даша,
Нет кнута на этих «шкур»,
Околела тёлка наша,
И спасенья нет от кур.
Дмитрий слушал хладнокровно
Брань и жалоб злой прилив.
Пессимизм Людмилы Львовны
Был велик, и рот скривив,
Саркастически шипела
На людскую фальшь она,
На хозяйственное дело
И плохие времена.
Раз по адресу супруга
Колкий сделан был намёк...
Но смеркался вечер юга,
Где-то вспыхнул огонёк.

XVIII

Спать ложась, простился Коля,
Дмитрий вышел на балкон.
Горы, даль холмов и поля
Обнимал вечерний сон.
В Ялте и Аутке дальней
Звёздами зажглись огни,
Совок свист звучал печальней
В тьме садов, в ночной тени.
Странный свист, призыв печали!
Словно кликали вдали,
И в разлуке грустно звали,
И дозваться не могли!
Всё прошло, и нет возврата!
Не вернуть любовь, семью...
Дмитрий отыскал когда-то
Милую ему скамью.

XIX

В уголке далёком сада,
На скамье, в тени кустов,
Лоз и листьев винограда,
Плакал он без слёз, без слов.
Вдруг раздался всё слышнее
Быстрый топот... искры, свет...
На коне мелькнул в аллее
Чей-то чёрный силуэт.

– Гей, Мамут? – А я за вами!
Едем! – Мне привёл коня?
– Здесь привязан, за кустами!
– Ладно, проводи меня! –
По дорожке свёл без шума
Лошадь Дмитрий через сад,
Холку взял, и сев угрюмо,
Не простясь, спешил назад.

XX

Мимо дома проезжая,
Свет в окне увидел он.
За стеклом вся жизнь былая:
Лампа, стол – как будто сон.
И жена там... На рояле
Взяв аккорд, стоит одна,
Кутаясь концами шали.
Плачет, кажется, она!..
Что-то больно сердце сжало
Дмитрию... Хлестнув коня,
Мчался он чрез камни, скалы,
Шпоря, гикая, гоня.
Зверь так, раненый смертельно,
Со стрелой, попавшей в грудь,
Скачет бешено, бесцельно,
Чтоб упасть хоть где-нибудь!

II. На палубе

Бежит корабль в синеющую даль.
И я стою, окован думой властной.
Моей мечты, прошедшего мне жаль,
Мне жаль страны, любимой и прекрасной.

Там горы спят, прохладен вечер ясный,
Там кипарис делил мою печаль.
Минувших дней искать, жалеть – напрасно,
И, странствуя, я вспомню их едва ль.

Но к берегам привязан с прежней силой,
Бросаю я магнолии цветок, –
Привет прощальный родины, мне милой.

Прибой его, баюкая, увлѣк,
И в край родной, который так далѣк,
Домчат волна и ветер легкокрылый.

III. Спутник

Мой спутник странный, злая тень моя!
Смотри, как тих на море вечер ясный.
Плывѣм с тобой мы в южные края...
Чему ж смеѣшься ты, сосед опасный?

Наморщен лоб под феской тѣмно-красной,
Грудь холодна под золотом шитья.
Ужель не радует нас мир прекрасный
И чуждо нам всё счастье бытия?

Смеёшься, бес? Красою неизменной
Блестит морская гладь, – наряд вселенной.
Смотри, зажглась далёкая звезда.

Она горит, как перстень драгоценный.
Ты говоришь, – погаснет без следа?
Пророчишь ты?.. не верю, никогда!

XLV. Отчаяние

В долине мрачной долго я блуждал
По терниям, в лохмотьях жалких платье.
Кругом песок, обломки чёрных скал...
На всём была видна печать проклятья.

Зачем родился я? Зачем жизнь дал
Другим, себе подобным? Без изъятья
Мы все умрём и проклят день зачатья.
Лишь смерть одна – венец для всех начал.

Так для чего без разума, без цели,
Мы боремся от самой колыбели?
Погаснет мысль во мраке вековом.

Случайный мир не создан Божеством,
И если б мы воззвать к Нему хотели, –
Ответа нет... Мир пуст, и ночь кругом.

Примечания:

1. – Песня Фрэнка Синатры «Путники в ночи». В переводе Александра Дмоховского.

2. – Кривенко Василий Сильч – (1854–1931) – русский писатель и общественный деятель; сотрудник «Нового времени».

3. – «Менталитет». Избранная проза. С-Пб.2007. Изд. Реноме; .336 с.

4.– Годы правления Анны Иоанновны 1730–1740 гг.

5. – «Из мира литераторов. Характеры и суждения». Ф. Фидлер. М. 2008. С.345

6. – Скончался в 1884 г. от чахотки.

7. – Наст. фам. Сыромятников Сергей Николаевич; (1864–1934) – прозаик, публицист; с 1893 года – пост. сотрудник газ. «Новое время».

8. – Капиджи (турк.) – чиновник

9. – Бакшиш (перс.) – гостинец, подарок.

10. – Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912) – публицист, драматург, романист. Издатель газеты «Новое время»; владелец Малого (Суворинского) театра.

11. – Буренин Виктор Петрович (псевд. – граф Алексис Жасминов; 1841–1926) – поэт, переводчик, публицист. Автор многих критических (нередко скандальных) статей и фельетонов в газ. «Новое время».

12. – Ю. И. – жена В. Шуфа Юлия Ильинична

13. – Саша – сын В. Шуфа.

14. – Фосколо Уго (Никколо) (1778–1827) – итальянский писатель, филолог.

15. – Письма хранятся в Ялтинском историко-литературном музее.

16. – Письмо В. Шуфа невесте Юлии. 1882 г., 3 декабря. (Зинаида Ливицкая «В поисках Ялты». Стр. 127).

17. – Письмо В. Шуфа невесте Юлии. 1883 г., 3 января. (Зинаида Ливицкая «В поисках Ялты». Стр.124).

18. – Письмо Юлии В. Шуфу. 1883 г., январь. (Зинаида Ливицкая «В поисках Ялты». Стр.125).

19. – Зинаида Ливицкая «В поисках Ялты». стр. 126.

20. – Письма В. Шуфа невесте Юлии. 1883 г., 31 января, 8 февраля, 14, 21 апреля. (Зинаида Ливицкая «В поисках Ялты». Стр. 134).

21. – Наталья Владимировна Шуф умерла в Ялте в конце 1960-х годов (предположительно в 1968–1969 гг.)

22. – Там – в 1897 г.

23. – Здесь – 1898 г.

24. – Лихачёв Владимир Сергеевич (1849–1910), поэт, драматург, переводчик Мольера и др. зап.-евр. авторов.

25. – Розанов Василий Васильевич (1856–1919). Литературный критик, публицист, религиозный философ.

26. – Вентцель Николай Николаевич (1855–1920) – поэт, прозаик, драматург и лит. критик.

28. «Корреспонденции о русско-японской войне». Заметки и корреспонденции Владимира Шуфа (Борея) из газеты «Новое время» (С-Пб). <http://www.v-shuf.narod.ru/publik2.htm>.

29. Немирович-Данченко Василий Иванович (1844–1941) – прозаик, поэт, публицист. Был военным корр. (Рус.-турец. Война 1887–1878 гг., Рус.-япон. война 1904–1905 гг., Первая миров. война).

30. – Н. Ежов «Алексей Сергеевич Суворин (Мои воспоминания о нём, мысли, соображения». Гл. XII «Суворин и – война с Японией, революция в Москве и всероссийские реформы». А.С. Суворин в воспоминаниях современников. Изд им. Е.А. Болховитинова; Воронеж. 2001.

Ежов Николай Михайлович (1862–1941) – писатель, журналист.

Содержание

Предисловие. <i>Максим Швец</i>	3
Призрак. <i>Владимир Шуф</i>	6
2008 год	11
1865 – 1900 гг.	60
Семейные узы.	88
1902 год	107
1904 год	118
Послесловие. Из поэтического наследия Владимира Шуфа	128
Раскаяние	128
«Не тревожь моё сердце, разбитое...»	130
Обман	130
Поздняя встреча	131
Бубенчики	132
Дуб и мимоза	133
Ива	135
К ним	135
Русь	136
Манчжурия	137
Тайга	137
Горящая тайга	138
Из поэмы в септимах «Гортензия»	139
Из романа в стихах «Сварогов»	140
Из книги сонетов «В край иной»	154
I. Прости	154
II. На палубе	155
III. Спутник	155
XLV. Отчаяние	156
Примечания:	157

КУДРЯВЦЕВ
Владимир Ильич

Редактор – *Максим Швец*
Оформление – *Марина Ясыченко*

Издательско-полиграфическая фирма «Реноме»

Подписано в печать 26.05.2017.
Формат 60x84 1/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 10. Тираж 200. Заказ №

Отпечатано в типографии издательско-полиграфическая фирма «Реноме»
192007, наб. Обводного кан., д. 40
Тел/факс (812) 766 05 66 E-mail:
RENOME@comlink.spb.ru